

Николай Климонтович

ПОСЛЕДНЯЯ ГАЗЕТА

маленький роман

Москва
Издательство «БПП»
2010

Оглавление

Глава I	3
ПОСТУПИЛ	3
Глава II	19
САНДРО	19
Глава III	40
КОНСТАНТИН ТОЛСТОЙ	40
Глава IV	63
БЕРУТ	63
Глава V	83
ГРАФ САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР	83
Глава VI	101
«ЧЕРТ, ВОЗЬМИ!»	101
Глава VII	115
СО СЛИВКАМИ.....	115
Глава VIII	134
ПАДЕНИЕ.....	134

Теперь можно, казалось бы, лишь пожать плечами: дерьма пирога, вычеркни эти несколько легкомысленных, неудавшихся лет, поднимайся, принимайся за старинное дело, как после завершившегося скучным разрывом нервного романа. Но в том-то и дело, что вся эта история оказалась серьезнее, чем можно было предположить, и моя жизнь, до того казавшаяся столь устоявшейся, вдруг посыпалась, как домик из карт...

Глава I

ПОСТУПИЛ

1

Неприятность поджидала меня уже в конце первой недели, что пребывал я в новой роли. Нет, это не было связано с исполнением моих прямых обязанностей — здесь пока все шло гладко, если судить по известной ласковости начальства: я, что называется, втягивался; это была неожиданная для меня встреча, причем нос к носу, — встреча, мигом испортившая мне настроение. Знаете, как бывает: идешь в гости, предвкушая приятный вечер в компании милых тебе людей, и вдруг, едва войдя в комнату, где гости уж сидят за столом, первым делом видишь едва знакомого малоприятного типа, которого никак здесь встретить не ожидал.

В четверг, едва я уселся за свой монитор в своем стеклянном загоне, как сразу же почувствовал непонятную тревогу. Так у меня случалось, коли дома, в кабинете, часиков в десять утра, убедившись, что с перисталь-

тикой все в порядке, приняв ванну за чтением газет и откушав в ней же кофе, позавтракав, а там при зашторенных окнах, набив трубку и отключив свой телефонный аппарат, поставив рядом родную, с удобной крышкой, китайскую кружку крепкого чаю и нежно заправив в машинку свежий белый лист, заведя чуть слышно какого-нибудь Вивальди, композитора, так сказать, нашего поколения, и, занеся было руку, чтобы отшлепать уже придуманную, обкатанную в голове фразу, вдруг чувствуешь, что расположение в воздухе, как говаривал Гоголь, едва заметно изменилось; и точно, спустя секунду-другую из глубины квартиры раздается голос жены, занимающейся хозяйственными делами:

— Тебя к телефону!

Причем голос ее звучит выше, чем обычно, потому что жена кричит через коридор и две комнаты, и несколько раздраженно: она разочарована тем, что звонит не ее подруга и не ее коллеги, что было бы прекрасным поводом оторваться от постылой кухонной работы, а моя редакторша, которую жена к тому же по неведомым мне причинам недолюбливает, но к которой согласно моей инструкции меня должно звать...

Надо вам сказать, что по сторонам я с первых дней моей новой службы старался не смотреть. Приходил и сразу утыкался в экран. На то было несколько причин. Во-первых, за долгие годы я, как выяснилось, совсем отвык от людей. Во-вторых, с редакционным компьютером отношения у меня на первых порах были самые натянутые. В-третьих, круг моих обязанностей был обрисован мне крайне туманно, и я боялся оступиться. И, наконец, я оказался совершенно не способен сосредото-

читься, когда вокруг меня сновали люди, галдели по телефону, без перерыва хлебали растворимый кофе и перекликались, как грибники. Так что я не сразу сообразил, что источник тревоги находится у меня под боком, слева. Наконец я обернулся — и мне мигом остро захотелось уйти и больше не возвращаться. За соседним монитором сидел человек, о возможности присутствия которого здесь я и помыслить не мог. Он тоже повернулся ко мне и с тошнотворной фамильярностью, хотя мы никогда не были даже приятелями, заорал, кажется, на весь этаж:

— Кирюха, не может быть! Ты-то что здесь делаешь?

2

Пора объясниться, впрочем. Со мною вот что стряслось: вы, конечно, будете смеяться, но я пошел служить в ежедневную газету.

Узнав об этом, один мой товарищ по цеху при встрече довольно злобно процедил:

— Пристроился, значит, к денежкам...

Позже другой, мне передали, говорил в ЦДЛовском буфете:

— Жаль, продался Кирюха, был ведь талант.— А в лицо неумеренно расхваливал мои вполне заурядные газетные опусы, которые приходилось теперь кропать чуть не всякий Божий день. То есть был писатель, но скурвился, зато критик, брат, из тебя получился знатный.

Жена утешала:

— Ничего, Кирочка, в кои веки поработаешь.— Точно как теща, если попадала на меня, звоня по телефону по моему возвращению, скажем, из Малеевки, где я выжимал из себя ежедневно, утром и вечером, строк по двести, а то и по триста (видите, в газете меня уже приучили считать строками, а не страницами и листами), очень вежливо, не без нежности даже, интересовалась:

— Как отдохнули?

Моя же мать, когда я назвал ей сумму, которую мне предложили, сказала безо всякой дипломатии:

— Ну и славу Богу, сможешь теперь ни о чем не беспокоиться.

Дело в том, что моя литература перестала меня кормить. Последней каплей было, когда в одном из толстых издыхающих литературных журналов в условных единицах, как принято считать, мне заплатили за рассказ двенадцать с половиной. Да-да, двенадцать с половиной долларов за двадцать с гаком страниц прозы. Пятьдесят центов за страницу. Чуть больше цента за строку, которую я, быть может, день-другой вынашивал в голове. И много раз переделывал.

Мою последнюю книгу, на которую, как водится, возлагались большие надежды, напечатало небольшое коммерческое издательство весьма приличным тиражом — и сразу в твердой обложке. Приученный в большевистское время подписывать типовые договоры, я и сейчас, почти не глядя, подмахнул контракт. Больше всего меня радовало, что я выторговал себе восемь процентов от отпускной продажной цены, да еще, идет, радовался своей невероятной практичности, по-

сколько догадался оговорить геометрический рост этого процента в случае будущих допечаток тиража. Курам на смех, какие к черту допечатки, когда книги почти не расходятся! К тому же, воспитанный в благословенное советское время, я вовсе не волновался о том, как, собственно, буду свои денежки выручать.

Пошли вполне приличные рецензии, звонки с радио, интервью в газетах, один иллюстрированный журнал дал рейтинг самых громких книг месяца и пропечатал мою третьей строкой — сразу после Бродского и Борхеса. Но на мои звонки издатель хладнокровно отвечал:

— Не идет, старик, совсем не идет, вот только что вернули из магазина все пять пачек...

Я мог ему верить или нет, но проверить, как оказалось, у меня не было ни малейшей возможности.

Более того, совершенно случайно выяснилось, что издатель ухитрился вдуть мою книгу какому-то англичанину (до тех пор меня переводили лишь в Финляндии и странах народной демократии, и на чеки, помнится, в советские времена я покупал в «Березке» сапоги жене и дочери). Контракта мне даже не показали, но издатель весело сказал в трубку:

— Мы же договорились: фифти-фифти, все, старик, в соответствии с Бернской конвенцией...

— Какая, в задницу, конвенция! — возопил я, вспомнив, кстати, смешной стишок:

Вот и не шиша,
если говорить о Швейцарии...

Взяв себя в руки, я поинтересовался, на сколько же тянет мое фифти? Пятсот в английских фунтах, был от-

вет, но только, старик, такое дело, банковский перевод где-то затерялся, англичане же олухи, старик, сам знаешь, указали не те реквизиты...

Нет, я не знаю. Не уверен, что англичане такие уж простаки. У них была промышленная революция, а сама Британия считалась царицей морей. Они придумали бокс, как говаривал при случае Расплюев, а олухи не могли бы создать столь гармоничный вид мордобоя. Вот по поводу того, что я сам — последний кретин, здесь двух мнений быть не может...

И вот представьте себе: на одной чаше весов — цент за строку моей бесценной вдохновенной прозы, которая вскоре зазвучит на языке Шекспира и Джека Лондона, на другой — без малого доллар за строку писанины, которую я смогу гнать левой ногой, плюс долларовое жалованье обозревателя. Вы бы устояли? У вас, быть может, нет любимой жены на бюджетном финансировании, научной сотрудницы академического института, и хорошенькой дочки, ученицы гуманитарного лицея, почти на выданье? Ну, не знаю, не знаю, я, во всяком случае, не устоял.

3

Отдел культуры (по аналогии, должно быть, с парком культуры или домом культуры), сотрудником которого — наряду еще с десятком человек дамского в основном пола — я оказался, писал все больше про музыку. И вот почему: все ведущие творческие работники, за полгода до моего прихода, новым заведующим отделом (предыдущий, с позором изгнанный, как я позже

узнал, вместе со всей его командой, все больше упирал на скульптуру, будучи, скорее всего, монументалистом) были набраны по знакомству и оказались с одинаковым, в данном случае музыкальным, образованием. Они попали в газетные критики кто откуда, одни — из дышащих на ладан и вполне неизвестных широкой публике специальных музыкальных изданий, в которых, впрочем, продолжали числиться заместителями главных редакторов, но денег им там за неимением оных не платили, другие — из музея музыкальных инструментов, кто-то еще, а именно сам заведующий, и вообще оказался инженером-акустиком, специалистом по основному своему профилю то ли по проектированию концертных залов, то ли по конструированию музыкальных шкапулов. Сотрудники — точнее, сотрудницы — отдела предпочитали, однако, чтобы их называли не журналистами, не дай Бог, не критиками даже, но — музыковедами, еще лучше — культурологами, но это уж самые амбициозные. Причем ни одна из них в те времена, когда живы еще остаются иллюзии юности и люди прочат себе славные свершения, ни к какому сочинительству, по всей вероятности, себя не готовила, во всяком случае, к газетному.

Еще перед тем, как переступить редакционный порог, я прилежно проработал, как выражается один алкоголик в моем дворе (прошлой зимой я проработал роман «Мать», и в этом есть, кстати, трогательная тяга к духовному усилию, а не к голому потреблению), так вот, я проработал подряд несколько номеров Газеты, которую до того в руках не держал: Газета предназначалась, как мне говорили, отечественному политическому и де-

ловому истеблишменту, а я, не принадлежа ни к тому, ни к другому, читал по старинке «Известия» с «Московскими новостями», «Литературную газету», коли мое имя там упоминали, да изредка «Независимую», и то лишь потому, что несколько раз выступал, как некогда было принято говорить, на ее страницах с литературными эссе.

И вот теперь, разворачивая один за другим большие тонкие листы, я чувствовал томление, как во сне, если б мне приснилось, будто я не сдал еще выпускные экзамены по математике за десятый класс. Ладно, что я не понимал ровным счетом ничего в биржевых сводках, реляциях об изменении цен на топливо или о скачках котировок на фондовой бирже. Можно было не слишком пугаться и того, что, изучив полосу сервиса (что эта страница так называется, я узнал позднее), я тоже понял немного. Скажем, рубрика «Модный магазин» показалась мне вполне эзотерической, поскольку текст пестрел наименованиями каких-то аксессуаров, в основном, кажется, дамских, и этих названий, я справился, не было и в словарях. То же я мог бы сказать и о спортивной рубрике, но все это было полбеда: в конечном итоге и офсайты с сетями, и от кутюр с бутиками были равно далеки от моего профиля. Ужас был в том, что я решительно не понимал и всего остального.

Скажем, я мог бы скромно рассчитывать, что кое-как одолею еженедельный политический обзор. Слабую надежду на это оставляло то обстоятельство, что по вечерам я исправно клевал носом перед телевизором в то время, когда передавали новости, а значит, материя мне была косвенно знакома. К ужасу своему я обнару-

жил и в этом случае, что совершенно не способен уловить нить. Начать с того, что текст был составлен крайне витиевато, как схоластический трактат. К тому же статьи так и пестрели цитатами, причем без ссылок, и я, считавшийся в кругу родных и близких достаточно начитанным, со стыдом понимал, что не в силах догадаться, кого цитирует автор в том или ином случае. Иногда мне мерещилось что-то смутно знакомое, из Антиоха, быть может, или из Кантемира, но не заниматься же штудиями в области русского стихосложения времен Екатерины, когда хочешь всего-навсего узнать, какую очередную глупость сморозил спикер нижней палаты. Да что Кантемир, автор — надо полагать, классический филолог по образованию, но ставший волею судьбы политологом — то и дело вводил в текст иностранные высказывания на языке оригинала. Чаще всего это были современные европейские языки, но случались латинские и древнегреческие выражения, а также извлечения из Торы и, кажется, кое-что на санскрите. Но и в тех случаях, когда в целом построение фразы было относительно прозрачно, иностранное вкрапление удавалось с грехом пополам уяснить, а цитата оказывалась так или иначе узнаваемой, велеречивый слог все равно заставлял меня трепетать; скажем, президента нашей страны автор всегда называл не иначе, как верховный правитель, что живо напоминало мне ни к селу ни к городу роман для подросткового возраста «Дочь Монтесумы», других политиков величал не по фамилиям, а нарекал непременно мифологически, сам возникал в контексте всегда в третьем лице — «как стало известно экспертам

Газеты»,— а обычную нашу водочку неизменно именовал хлебное вино.

Плохим утешением было и то, что рубрики «Ресторанная критика», «Светская хроника» и «Прогноз погоды» показались мне более или менее внятными, поскольку — и это было самое страшное мое открытие — материалы моего собственного отдела культуры тоже были мне не по зубам. Не считайте меня совсем уж крошечным кретином: там, где изредка говорилось о театральные премьеры или кинематографических новинках, я, хоть и испытывал некоторый дискомфорт от обилия посторонних интеллектуальных аллюзий, кое-что разобрать был в состоянии. Но дело в том, что подавляющее количество культурных материалов было посвящено, как я сказал, музыке, причем не Чайковскому или оркестру Лундстрема, но полемике внутри какого-то параллельного мира — мира авангардных звуков и концептуальных контрапунктов. Наверное, у большинства моих коллег были в молодости академические поползновения, поскольку писали они преимущественно на специальном культурологическом волапюке, в котором я, грешный, не мог понять ни звука. По-видимому, эти тексты слагались для круга единомышленников или оппонентов, одинаково прикосновенных некоему тайному знанию (так мне казалось, во всяком случае), и оставалось лишь поражаться, сколь рафинирована наша новая финансовая и политическая элита, которой предназначалась Газета, коль скоро интересуется столь возвышенной и недоступной простому смертному русскому интеллигенту абракадаброй.

Оставалось утешаться тем, что хоть в музыке я действительно полный профан, но позвали меня все-таки не для дешифровки опусов моих новых коллег-культурологов, а писать о литературе. И оставалось уповать на Бога: быть может, мне удастся кое-как справиться с моей узкой, как я ее поначалу понимал, задачей — по мере сил информировать читателя о происходящем в художественной нашей текущей словесности, тем более что первое свидание с непосредственным моим начальником весьма меня ободрило.

4

Перво-наперво мне понравилось его мягкое имя Иннокентий, но главное — и это говорит, конечно, о моих неизжитых сословных предрассудках, — его звучная дворянская фамилия. Конечно, фамилия могла быть благоприобретена предками моего заведующего в многосложные годы недавней российской истории с ее странными сплетениями судеб и многими переименованиями, но тихий голос, но сдержанные манеры, но толстые стекла очков и благожелательный, несколько косящий взгляд, сфокусированный с помощью линз и воспитания на собеседнике... В процессе разговора, по мере того как я все больше проникался к нему симпатией (в конце концов, ввиду плачевных итогов моего первоначального ознакомления с содержанием Газеты, только на его расположение и поддержку я и мог надеяться), мне стало казаться вполне естественным, что у него, столь явственно интеллигентного, узенькие плечи и впалая грудь при довольно массивной нижней части

туловища (я и сам никогда не мог похвастаться спортивным сложением). Быть может, поэтому в поисках дополнительного резерва мужественности он был одет во все черное: черные штаны, черная рубаша, черный пиджак.

Я доверительно поведал ему, что не имею опыта работы в газетах и, по правде сказать, никогда не намеревался в газетах служить, но зато был некогда штатным сотрудником одного журнальчика, а потом работал много лет внутренним рецензентом весьма солидных литературных изданий (именно это сомнительное ремесло литературного рецензента, устаревшее нынче, как навык плетения лаптей, и позволяло мне держаться на плаву даже в самые неудачные мои литературные годы). Он внимал, приветливо улыбаясь из-за очков, но — я поначалу не обратил на это особого внимания — в разговор не пускался и ответных реплик, если не считать таковыми ни к чему не обязывающие междометия, не подавал. Впрочем, одну фразу он все-таки произнес. Он особенно сладко улыбнулся и тихо сказал: «Мы так долго искали человека на это место». Увы, тогда меня не только не насторожила эта фраза, но скорее я почувствовал себя глупо польщенным. И тут же доверительно сообщил ему, что, вообще говоря, соглашаясь на это предложение, попадаю в весьма щекотливую ситуацию: я не критик, но прозаик и в каком-то смысле перебегаю на другую сторону баррикад. И что у меня есть много товарищей и коллег, о книгах которых... Что-то остановило меня в выражении его лица — будто ироническая ухмылочка скользнула по губам. Коли он не показался бы мне таким милым, признаюсь, я вовсе не знал бы,

как себя вести. Проговорив с минуту и вдруг спохватившись, что визави мой все больше помалкивает, я почувствовал себя болтуном, несущим околесицу, не имеющую отношения к делу. Я был смущен. Ведь за двадцать лет пребывания на вольных хлебах я решительно одичал на своем диване и разучился общаться с начальством. У меня попросту не было необходимой практики — за неимением никаких начальников. Если не считать, конечно, начальника паспортного стола или ЖЭКа (своих многочисленных редакторов и заказчиков я в счет не беру, ведь я им не подчинялся, да и почти не зависел от них в последние годы, поскольку пристойного гонорара они заплатить не могли и скорее сами зависели от меня). Теоретически я понимал, как важно в этом разговоре поймать грань между чувством собственного достоинства и доверительностью, и все боялся пережать в ту или иную сторону. Причем, боюсь, страх показаться недостаточно любезным заводил меня скорее в область искательности.

Итак, я замолчал, и он молчал тоже, улыбаясь. Я прикинул, что он моложе меня лет на пять, и это тоже не облегчало моей участи. В конце концов, я не только был его старше; я простодушно полагал, что, если не считать его служебного места, занимаю более высокое положение в обществе, ведь у меня есть какое-никакое, но литературное имя. Это означало, что я должен был быть особенно с ним деликатен, и в иной ситуации я очень быстро поймал бы эту интонацию как равный с равным, которая выносит за скобки разницу весовых категорий, что и не позволяет об этой разнице забывать. Тогда мои автобиографические пассажи выгляде-

ли бы вполне уместно, как если бы я поощрял доверием молодого коллегу. И, кроме того, мы были люди одного круга, и он тоже наверняка мечтал некогда не о том, чтобы сидеть в этой стеклянной будке хоть бы и в чине заведующего, но о более ярких достижениях.

Однако дело-то было как раз в том, что это вовсе не он пришел ко мне наниматься на службу, а я был в его кабинете просителем. Конечно, я мог попытаться дать понять, что, мол, в некотором роде делаю честь Газете своим согласием на сотрудничество, но чувствовал, что в данной ситуации такая постановка вопроса совсем неуместна. Ведь, как сказала бы моя дочь, ежику понятно, что от хорошей жизни писатели с именем в газету не нанимаются. Короче, положение становилось неудобным, а его молчание двусмысленным. И если бы я не был уверен в его отменном дворянском воспитании, то эту милую улыбку и молчание мог бы счесть за скрытое злорадство или даже издевку. Вот до чего доводит кабинетное существование, сказал я себе, до какой степени мнительности. Кажется, он понял, что я совсем заплутал, и предложил мне показать, как, собственно, мне предстояло отправлять мои обязанности.

5

Еще года три назад, впервые попробовав работать на компьютере, я сказал себе, что старую собаку новым фокусам не выучить, и решил, что так до смерти и останусь при своей «Эрике». Не помню, кто именно, Бабель, кажется, говаривал, что самое мучительное для него — писать, а самое сладкое — править. Для меня самым

теплым этапом работы всегда было разрезать машинописные листы и склеивать их по-новому (анальный характер, сказал бы фрейдист). Поэтому, когда мой приятель-компьютерщик продемонстрировал, как легко подобные текстовые коллажи делаются с помощью самой простой редакторской программы, мне показалось, что идет наступление на самые сокровенные и уютные, многолетне выверенные мои привычки, что над самым моим сочинительством хотят провести вивисекцию, и я, ужаснувшись, дал себе зарок и продал эту машину, фривольно называемую пи-си, за полцены.

Знал бы я тогда, что чувство мое было пророческим и никакая продажа не отвратит от меня перст судьбы...

Итак, Иннокентий подвел меня к монитору и показал, как вводить в компьютер мое имя и присвоенный мне пароль. На экране верхней строкой высветилась моя фамилия, а внизу открылось чистое поле.

— Ну вот, это ваш персональный каталог,— сказал Иннокентий.— Здесь вы пишете свой материал. Потом перекидываете его мне, это вам покажут девочки, а я ставлю на полосу. Видите, как все просто?

Рядом действительно оказалась девочка лет двадцати.

— Это Вероника,— представил ее Иннокентий.

— Кирилл,— сказал я, в последний момент удержавшись, чтоб не добавить отчество: девочка, если б вовремя постараться, могла бы сгодиться мне в дочери.

— Так вот, смотрите сюда, Кирилл,— быстро залопотала она несколько низковатым для ее лет и фигурки голосом, должно быть, от табака, причем ничуть не смутившись тем обстоятельством, что обращалась к пуза-

тому, очкастому дядьке с седоватой бородой по нагрудный карман пиджака, автору десятка книг и члену двух творческих союзов.— Вы входите в свою директорию, как уже сказал Кеша, через вашу фамилию кириллицей и через шифр по латыни. Смена регистра вот здесь, через контрол. Предположим, вам надо озаглавить новый материал в персоналке. Вы нажимаете эф три. Видите, здесь вы набираете ваш тайтл — и сразу же можете писать. Перебрасываете Кеше через е — видите, компьютер спрашивает: копировать или переместить? Нажимаем «копировать», иначе материал упадет в портфель. Так, что еще, ах да, у вас есть и прямой доступ в газету, поскольку вы — ведущий. Да-да, что вы так смотрите? Доступ есть только у зава и ведущих темы. Значит, вы можете писать и прямо в газете. Показываю: мы входим в завтрашнее меню. Ищем полосу через пэ. Набираем двенадцать, это культура, видите? Если вы уже есть в оглавлении, то здесь будет стоять ваш тайтл-ноль и ваш дэд-лайн. Вот и все, пожалуй,— заторопилась она, поскольку ее позвали к телефону.

Девочка крутанулась на вращающемся стуле и уже через секунду произносила столь же слитный и скорый монолог в трубку. Я смотрел на клавиатуру. Я не врубался, как выражается молодежь. Своими словами: я ни хрена не понял. И какую, Господи помилуй, тему я веду? Земную жизнь пройдя до половины, я даже не знал, как мне избавиться теперь от этого самого оглавления и вернуться к чистому полю, предназначенному для моих трудов. Такая вот терцина. Полузабытого английского мне хватило лишь, чтобы сообразить нажать кнопку Esc. Компьютер спросил меня: вы хотите выйти из газеты?

Хочу ли я? Да я готов бежать отсюда без оглядки. Я нажал Enter. Передо мной опять возникло чистое поле, чему я отчего-то весьма обрадовался. «Ке фер? — автоматически напечатал я, отчего-то вспомнив Тэффи.— Фер-то ке?..»

Уже с облегчением покидая редакцию, я вдруг спохватился, что мне не только не хватило сообразительности понять, как мне действовать. Никто со мной не обмолвился ни словом о самом главном — что, собственно, я должен им писать.

Глава II

САНДРО

1

Итак: признаться, я не сразу нашелся. Наверное, у меня была довольно глупая от изумления физиономия. Мне бы сказать моему нежданному соседу по редакционному купе, в свою очередь: мол, я-то здесь обзираю текущую русскую словесность, а вот что здесь делаешь ты? — не помню, кстати, чтобы мы с ним когда-нибудь были на ты, но он опередил меня:

— А я веду светскую хронику. Пишу под псевдонимом Сандро. Работенка не пыльная, местами даже отвязная. Ну, да ты читал, конечно: субботняя страничка на одиннадцатой полосе. Я, старик, уж года полтора в Газете. Но пописываю и еще туда-сюда: в «ОМ», в «Матадор». А ты, понятное дело, у нас новичок...

Собственные имя и фамилия у него были самые забубенные. Звался он на деревенский манер Коля Куликов, что, на мой взгляд, для карьеры беллетриста совершенно убийственно в силу полной неусвояемости читателем подобного имени и большого количества однофамильцев. Отчего, надо полагать, он теперь и заделался Сандро; впрочем, он был совершенный русак, ничего кавказского, так что с таким же успехом мог бы назваться хоть Авелем, хоть Тристаном. Кажется, он был вполне бездарным сочинителем, впрочем, объективности ради нужно сказать, что в ранние бесцензурные годы он накатал одну за другой несколько шустрых повестей, своего рода физиологических очерков с описаниями быта и нравов советской комсомолии (это был знакомый ему не понаслышке материал, он и в крошечные годы подвизался бойким очеркистом ведущей комсомольской газеты, причем специализировался не на моральной тематике, а шнырял все по горячим точкам, как это называется у работников масс-медиа), впрочем, его прозы я никогда подряд не читал. Знаю только, что эти его этнографические описания в недолгие времена всяческих разоблачений принимались на ура: сцены с комсомольскими богинями в финских банях, махинации комсомольских кооперативов и тому подобная беллетризованная журналистика, прослоенная автобиографического, должно быть, свойствами половыми сюжетами. Он нажил себе репутацию разоблачителя-либерала, на чем, думаю — хоть и неприлично считать чужие деньги,— хорошо заработал: все эти повестушки были тогда же экранизированы (я, грешный, всегда втайне мечтал о том же — даже единственная экранизация по тем вре-

менам давала сочинителю немалый шанс отдышаться), по одному или двум его прозаическим опусам шли пьесы в московских театрах — в его же инсценировках, и Коля Куликов долго ходил в модных авторах, даже ездил, по слухам, с лекциями в Гарвард, что, беря во внимание его, как мне мнилось, простоту, было весьма забавно: на волне горбимании его переводили и в Америке слависты-энтузиасты. К тому же он считался у секретарш Союза писателей первым красавцем, слыл донжуаном, держался гоголем и был со всеми знаком. Можно сказать, и со мной тоже. Мы сталкивались с ним несколько раз в редакциях, и столько же раз нас представляли друг другу, причем Коля неизменно радостно восклицал: «Да мы знакомы!» — и, как сейчас выяснилось, действительно помнил мое имя.

Он был в ловком пиджаке, сверкающих штиблетах и рубаше-апаш, открывавшей его мощную красивую шею. Большинство сотрудников, с первого по третий этаж, в редакцию приходили, соблюдая, так сказать, американский стиль, в джинсах и свитерах, что, конечно, отражает лишь русское представление об Америке — попробуйте-ка в официальный тамошний офис заявиться на работу в таком-то виде, годящемся по тамошним представлениям лишь для воскресного пикника. Он был спортивно подтянут — не чета мне. Его борода была подстрижена до уровня трехдневной щетины, что давало возможность разглядеть крупные малиновые губы сластолюбца; прическа, насколько я могу судить, была модной, хоть и делала его — вкупе с серыми, подернутыми уже едва заметно возрастной рыбьей мутью, простонародно близко посаженными быстрыми и

хитренькими глазами — неуловимо похожим на полковника ЦРУ из американского боевика — седоватый ежик с подбритыми висками; от него довольно явственно припахивало дорогим одеколоном — смесь запахов спермы и арбуза — и, кажется, коньяком. Вальяжность его говорила о довольстве — в любом смысле этого слова; впрочем, он производил впечатление общей собранности.

Ну да все это внешнее, пустяки. Главное же, что вызвало у меня изумление, едва я обнаружил Колю Куликова в Газете сидящим рядом со мною в отделе культуры, так это его, как говорится, идейная репутация последних лет, когда иссякли былые победы. Я не слишком разбираюсь в идеологических оттенках, но Коля в поздние годы реформ, я слышал краем уха, что называется, полевел, не был, конечно, записным коммунистом, но шился среди публики националистического оттенка, что, вообще говоря, вовсе не было удивительным, это вполне типично для любого литератора, чьи творения, так сказать, перестали конвертироваться и на европейские языки больше не переводятся, — и с чего бы тогда, собственно, продолжать ходить в западниках. Кроме того, он был все-таки советским литератором, университетов не кончавшим, и что он делал в отделе, сплошь укомплектованном либеральными интеллектуальными культурологами, было решительной загадкой. Единственным объяснением мог бы служить тот факт, что жанр светской хроники был навязан начальством Иннокентию, равно как и спортивная хроника, поскольку под крышу других отделов никак не влезал, а на роли светских и спортивных хроникеров музыковедши реши-

тельно не годились. Вот и пришлось, по-видимому, согласиться на Колю Куликова, к тому ж, если вдуматься, при его пронырливости и знакомствах, хорошо подвешенном языке и беглом перепе это занятие было как раз для него.

— Рад тебя видеть здесь,— потискал он мое плечо.— Ведь в этой лавочке до сих пор я был один — писатель. Теперь нас двое, а это больше, чем единица...

Признаюсь, меня шокировало даже не то, что он все переиначивает Бродского, но что вот так запросто ставит нас, себя и меня, на одну доску: я все-таки о голых комсомолках в бане не писал, я числил себя по ряду наследников хоть Бунина, хоть Газданова да хоть бы и самого Набокова, но в рядах разгребателей авгиевых конюшен — социальных или эстетических — отродясь не состоял. Это откровенное предложение корпоративной солидарности я счел тогда лишним проявлением его дурного вкуса: как будто зоной пахло, так, наверное, в лагерях сбивались в кучки по принципу членства в творческих союзах... Кроме того, я испытывал к Газете известный пиетет, и меня резанула его небрежность: лавочка. И я лишь кивнул ему тогда, пробормотал что-то условно вежливое и уткнулся опять в свой монитор. Глупый снобизм, мне бы расслышать в последней его фразе своего рода предостережение. Не мог же я подозревать, что вскоре мне пригодится его солидарность. Очень пригодится.

Газета была, конечно, не государственной, но входила в издательский холдинг, принадлежавший то ли одному Банку, то ли нескольким, впрочем, это было тайной за семью печатями, и никто, кроме хозяев, не знал, откуда и куда льются газетные денежки.

Холдинг был организован строго иерархически, как рыцарский орден.

Где-то в поднебесье, на пятом этаже здания, перестроенного некогда из советского типового НИИ, парили создатели и хозяева холдинга, поговаривали в Москве — долларовые миллиардеры, но это, думается, некоторая гипербола; так, в деревне, где я купил некогда дом на гонорар от одного-единственного очерка, одна бабка говорила о соседке: она миллионерша, у нее пять тысяч на книжке... Туда, за облака, простых смертных не пускали, так что за годы, проведенные в Газете, на пятом этаже я был единственный, кажется, раз.

Под небожителями, на четвертом, сидело весьма многочисленное даже по меркам давних советских изданий руководство Газеты, состоящее из нанятых работников (впрочем, как потом выяснилось, кое за кем было закреплено и некоторое количество акций холдинга, но не персонально, а за их креслами). При желании туда можно было сходить на экскурсию.

Мы сидели на третьем этаже. То есть весь творческий штат Газеты. Сидели в отгороженных один от другого стеклянными перегородками загонах: один отдел — один загон плюс застекленный же ящик для заведующего, кабинет. В каждом загоне штук по восемь мо-

ниторов, столько же кресел — по четыре вдоль двух столов, спинками одно к другому. Два телефона. Все прозрачно, американская система, нечего и думать распить здесь бутылочку. Не говоря уж о том, чтобы согрешить. Даме, чтобы поправить чулок (это образно, конечно, какие чулки у культурологов), нужно было дойти до туалета в конце коридора. К тому же в углах под потолком этого разграфленного перегородками зала были подвешены видеокамеры, с помощью которых люди из секьюрити наблюдали за происходящим, и я, конечно, об этом долго не подозревал.

На втором этаже были службы: оформительская, фотографическая, рекламная, существовавшие как бы независимо от Газеты, напрямую входя в холдинг, но обслуживавшие и ее нужды. А также отдел верстки, отдел адресного рассылки (три-четыре скромные персоны, и никто не мог бы догадаться, сколь важен смысл этого подразделения для самого существования Газеты) и — самый загадочный — отдел риайта. По-старому это бы называлось корректорской, но корректоры тоже имелись — отдельно. Риайтеры же не были и редакторами в обычном смысле, и я долго пытался усвоить, в чем пафос их работы. Много позже я догадался, что их наличие никак было не объяснить голой производственной необходимостью, здесь был расчет психологический, а деятельность риайтеров носила в каком-то смысле метафизический характер: впрочем, мне еще очень многое предстояло узнать.

На первом этаже помещались информационная служба, служба компьютерного обеспечения, отдел кадров, охрана, а вот о том, что было в здании еще и

два подвальных этажа, один над другим, я тоже узнал много позже...

Я говорю обо всем этом так подробно потому, что на первых порах устройство Газеты воплощало для меня воочию, сколь изменился окружающий мир. Когда двадцать лет назад я работал в штате журнала «Юный природовед» — по образованию я тоже не Лев Толстой, но биолог, точнее, антрополог, и поскольку с юности пописывал, то сразу после университета стал подвизаться в журналистике, ну да это уж быльем поросло, — так вот, письменные столы в нашей крохотной редакции, каждый из которых был закреплен за тем или иным сотрудником, очищались от завалов бумаг только в случае, если нужно было нарезать колбасы, чтобы закусить портвейн «777», или посадить машинистку (диванов по крайней тесноте и бедности в «Природовед» не было).

За два десятка лет, что я провел на собственной кушетке в своем кабинете, летом — в дощатой пристройке нашего деревенского дома или по нанятым зимним дачам и Домам, что называется, творчества, предаваясь этому сладкому и не всегда платоническому в смысле заработка процессу, все вокруг, как выяснилось, не стояло на месте. И вот: ни одного клочка бумаги не оставалось к началу нового рабочего дня на столах на третьем этаже Газеты. И колбасу никто не резал, ибо никто здесь не выпивал. И не было больше машинисток, поскольку каждый сотрудник категорически печатал свои сочинения самостоятельно на клавиатуре компьютера, и сочинения эти автоматически попадали на общий сервер...

Впору обронить слезу по давним временам, когда не было общих сетей. И, к слову, мне это было бы вполне по чину, поскольку в свои сорок два я оказался едва ли не самым старым во всей редакции, Коля Куликов и тот был моложе меня года на два. Сидя за чашкой кофе в очень пристойном, со свежими пирожными из кулинарии при ресторане «Шанхай», которые мне потреблять, к слову, решительно противопоказано, с дорогими бутербродами — цены здесь были вполне пропорциональны редакционным жалованиям — बारे, я предавался ностальгии, вглядываясь в снующее мимо молодое племя. Нельзя сказать, чтобы оно мне было вовсе не знакомо, дочери в следующем году будет семнадцать, но разительные изменения во всем были налицо: обилие юных девиц-корреспонденток с длинными ногами и задорными попками под едва приметными юбками, девиц, какие в мое время могли сидеть в редакциях лишь в качестве секретарш; и обилие вполне умытых юношей с университетскими, судя по одухотворенности лиц, дипломами, чисто одетых, заступивших вместо помятых журналистов моей советской юности — в мешковатых пиджаках с жирными воротниками и со следами многолетнего редакционного пьянства на физиономиях; наконец, весьма буржуазного вида дорого и просто одетые средних лет дамы, каких не встретишь на улице, — видимо, с четвертого этажа, — ничем не напоминающие утомленных редакционных женщин былых времен, обремененных беготней по магазинам и бесконечной правкой безграмотных рукописей, и галантно с ними раскланивающиеся господа в дорогих пиджаках и башмаках и с сотовыми телефонами в руках...

С сожалением покидая буфет и направляясь к своему монитору, я заворачивал в туалет, и здесь тоже ничто не напоминало не только предыдущую эпоху, но и окружающую действительность: идти до кабинки приходилось по полу, в котором можно было поймать собственное отражение; вода из бачка омывала нутро темно-коричневого унитаза благоуханной пеной; над рядом умывальников с медными кранами во всю длину стены красовалось высокое зеркало; а стоило протянуть руку, как тебе на ладонь падали ароматные капли заморского жидкого мыла. Суша ладони под исправным, бесперебойно подающим теплый воздух автоматом, я не без чувства удовлетворения глядел в зеркало на свое обрюзгшее в последние годы лицо с недавно появившимися мешками в подглазьях — от предутренней бессонницы — и подмигивал сам себе. Мне нужно было ободрение — хоть собственное. Мол, все не так плохо, дружище. Я вспоминал замечание одной молоденькой журналистки, интервьюировавшей меня недавно для какого-то глянцевого молодежного издания. Она спрашивала о моей нынешней деятельности в Газете без ханжества моих коллег по Союзу; и я с готовностью ей объяснил, что и во всем мире писатели сплошь и рядом ведут колонки в ежедневных газетах, и это считается в порядке вещей. Она прислала мне номер с этим интервью. Свой вопрос относительно моего нынешнего положения она снабдила ремаркой: мол, известный прозаик Кирилл К. теперь работает литературным обозревателем Газеты. И в скобках поставила простодушное: везет же людям.

Да-да, мне повезло. Чувствуя себя готовым к бою, с облегченным мочевым пузырем, с чистыми руками и еще не совсем остывшим сердцем я еще раз подмигивал своему отражению: что ж, может, и действительно все сложилось не так уж плохо. А литература не убежит, куда она денется, литература. Сегодня я являюсь высокооплачиваемым сотрудником самой солидной из новых буржуазно-либеральных газет страны. По-старому, это почти то же самое, как если бы я сделался заведующим литературным отделом «Правды».

3

Тогда я говорил себе, что должен быть собран, а писательскую фанаберию стоит забыть на время. Ведь я торил новый для себя путь газетного литературного обозревателя на собственный страх и риск. Единственное, на что мне указали, так это на правило Газеты, согласно которому для появления любого материала на ее полосах требуется информационный повод. Посему я завел себе календарь, где отмечал различные литературные даты: юбилеи российских и международных сочинителей, а то и просто круглые сроки, истекшие со дня появления в печати того или иного шедевра,— и поскольку в отличие от иных сфер бытия в литературе обычно ничего не случается, разве что помрет кто-нибудь, то каждую из этих дат при желании можно было считать достаточным информационным поводом для высказывания, что тоже мне было объяснено, хоть это и казалось в известной мере натяжкой. В конце концов, наивно полагал я, зачем обманывать себя и других, не

легче ли, коли внятного повода не находится, просто публиковать то, что забавно и хорошо написано. Но, как я быстро усвоил, в отделе культуры старательно делали вид, что соблюдают эту установку начальства незыблемо, хоть и интерпретировали ее на собственный лад, исходя из соображений не столько удобства, но некоей стратегии, о наличии которой я простодушно не догадывался попервоначалу, еще ничего не зная о своего рода идеологии Иннокентия и окружавших его дам.

Первым делом, пустившись в это авантюрное плавание, я обошел маленькие книжные магазинчики — для знатоков, в которые и до того время от времени наведывался. Странное дело — при том, что книг печаталось все больше, рецензировать оказалось практически нечего. Не выдавать же за новинки трактат Марка Аврелия или сборник «Предупреждения» Дмитрия Александровича Пригова.

Позже-то я наострился, конечно, писать вообще о чем попало, что стали присылать мне из редакций и издательств, или вовсе о том, что листал перед сном дома или в полудреме в гамаке на даче, позаимствовав у жены или дочери. Но, пускаясь на дебют, я почитал свою новую миссию весьма ответственной и серьезной, пропорционально заработной плате, и, стремясь честно отработать пайку, пытался отыскать хоть пару книг, о которых, по моему разумению, следовало бы оповестить читателей Газеты. Но не о дамских же романах и бульварных глянцевых книжонках писать рецензии: даже проработав с карандашом в руках несколько последних номеров «Книжного обозрения», я убедился,

что и там все больше рекламируют здешнюю самопальную бульварщину.

Увы, я давно прошел стадию живого некорыстного интереса к пишущемуся вокруг. Толстые журналы я бросил читать еще во времена, когда они, как сговорились, стали печатать давно известное всем еще из самиздата, от «Реквиема» до бесконечного «Красного колеса», от которого и в тамиздатовском исполнении сводило скулы и ломило кости: прочитайте-ка лежа на диване тысячу страниц микроскопическим шрифтом набранного текста — оставленных почти нетронутыми мемуаров Гучкова с Милюковым, прослоенных довольно пресными, хоть на фоне страстей плагиатного Григория, половыми приключениями героя по имени, кажется, Воротынцев... Потом самиздатовский портфель иссяк и тиражи упали. И в опустошенное журнальное пространство, оставленное старшим поколением, на мутной волне крушения старого мира проникла новая поросль, цепко увившая всякий свободный пяточок этих руин своими стелющимися побегам. Обладая схожими замухрышистыми фамилиями, они и текстами своими были неотличимы один от другого, писали орнаментально, метафизично, темно и скабрёзно. Читать все это было выше всяких сил. То, что нынче почиталось за новизну, было уже на моей памяти обкатано и переварено в подпольной московской словесности и теперь выглядело сущим ученичеством. Прежние поколения такого сорта продукцию не могли при всем желании вынести дальше кухни, чему немало помогала цензура, новые же получили возможность тиражировать все это с колес, что отбросило текущую словесность в пубертатный

период. Нечего было и думать рецензировать их сочинения вот так, с налета. Тем более что в обозе этой новой оравы следовали критики из числа друзей и знакомых, с энтузиазмом курившие ей фимиам в критических разделах тех же изданий. У них, по-видимому, сложилось уже нечто вроде секты или даже сосуществующих нескольких сект, заполонивших оставленные вождями журнальные пространства, подобно тому как шайка скваттеров захватывает брошенный, еще не остывший дом.

Я консерватор, каюсь. Я искренне, пусть и старомодно, полагаю, что издавать боевые клики юного сексуального гона есть неременная фаза созревания, но от нее очень далеко до покойной ясности и вольной простоты. И что это верная примета всякого смутного времени, когда юные бунтари объявляются гениями, едва напечатав первый эпатажный рассказ. И хорош бы я был, примись на старости лет в качестве литературного критика всерьез говорить об этой лабуде. Да ведь и правду сказать страшновато: каково в глазах нового поколения записаться брюзгой и ретроградом?..

Конечно, до того, как стать обозревателем Газеты, я продолжал почитать кое-какие книги: Гоголя, мемуары, Тита Ливия с Ключевским, но никак не беллетристические сочинения моих коллег по перу, соотечественников и современников, и в этом шел, кажется, ноздря в ноздрю с нашим интеллигентным читателем. Что, кстати, довольно нерасчетливо для сочинителя, ибо, как сказал однажды кто-то из моих старших циничных коллег по цеху, у тех, кто пишет хуже тебя, можно при случае разжиться свежими идеями, с которыми сами они

не справились,— и приводился в пример тот же Набоков, слямзивший сюжет «Лолиты» у Куприна. Впрочем, в чтении мне нужен никак не сюжет, но толчок; достаточно искры, одной странички или даже одного-единственного абзаца, заставляющего меня вздрогнуть и бежать к столу, и не того же ли ищет любой пишущий, дающий себе труд переворачивать чужие страницы?.. Однако новое мое положение заставило меня пересмотреть привычки и опять превратиться на старости лет в литературного пай-мальчика, и я теперь аккуратно следил за новинками, то и дело слюня палец.

Прошел я и еще один путь: внимательно изучил месячный календарный план, который мне аккуратно присылали из Дома литераторов и который я до того выбрасывал, не разрывая конверта. Я вник в расписание всяческих мероприятий и творческих вечеров, на которые прежде мне и в голову не пришло бы идти, разве что обидчивый знакомый позовет на свой бенефис. Среди анонсов клуба книголюбов имени Е. И. Палтусова — убей Бог, если я слышал хоть единожды это громкое имя — представления романа Елены Новой «Ласки махаона», изданного ТОО «Просвет», творческих вечеров поэта Синильникова, прозаика Трудкина, драматурга Пейджержевского, переводчика Иванова, имена которых мне тоже ничего не говорили, оздоровительных сеансов супругов Огневых (билеты в кассе), собрания дамского литературного клуба и встречи с редакцией журнала духовной лирики «Икарус», наконец, под водительством человека, чье имя всем было хорошо памятно — в годы оны он был одним из самых активных цэдээловских стукачей,— было объявление о

собрании по случаю юбилея фантаста Беляева. Делать было нечего, на этот вечер я и заглянул. И по окончании первого отделения наградил себя за этот подвиг обедом в дубовом зале писательского ресторана, доживавшего тогда свои последние дни. Замечу, ресторанный обед из четырех блюд я мог себе заказать только теперь, благодаря Газете, раньше же жался в буфете, как и положено малоимущему беллетристу. Я мог нынче позволить себе под грибочки и запотевший графинчик водочки, даже если и был за рулем: теперь у меня хватило бы денег и на случайную встречу с автомобильным инспектором, коли тому пришлось бы в голову покушаться на мою малопривлекательную для дорожных флибустьеров в погонах бледно-бежевую, вполне поносного цвета, битую «Таврию».

Что ж, начнем с нейтрального Беляева, решил я. Помянуть его казалось логичным хотя бы потому, что в этом самом «Книжном обозрении» было пропечатано, что, не сговариваясь, одновременно пять-шесть столичных и периферийных издательств выбрасывают на рынок его собрания, пользуясь, должно быть, отсутствием наследников и ориентируясь на рыночный спрос. Я видел здесь повод поговорить о причудах массового читательского вкуса, но испытывал все-таки сильные сомнения — тема ли это для рафинированного отдела культуры Газеты?

4

Но Иннокентий эти сомнения развеял и поощрил меня: что ж, это забавно, напишите строк сто двадцать с

выносом. И он как-то странно подхихикнул, потер ладони и даже, кажется, подмигнул из-за стекол очков. Этот самый вынос сначала не на шутку меня напугал, и я засомневался, справлюсь ли с заданием, пока та же хриплоголосая грациозная Вероника не объяснила мне, что вынос — это всего лишь энциклопедическая справка, которая помещается при статье в отдельной рамке...

От отроческого чтения фантаста Беляева у меня осталась в памяти лишь какая-то сама по себе, без туловища, говорящая голова и сдобное тесто, попершее от чего-то по улицам больших городов. Этого было для Газеты явно маловато, и я стрельнул у соседей по лестничной площадке объемистый том с изображением запутавшихся в водорослях кораблей на обложке, причем быстро выяснилось, едва я прилег на кушетку, что я путаю авторов «Аэлиты» и «Ариэля». Из предисловия советских лет я выудил и подробности биографии фантаста (которые и пойдут в вынос, решил я), дожившего под Ленинградом, как оказалось, до самой блокады. Сочинитель пропал без вести, а дом его оказался сожжен, и вместе с автором и домом исчезли и все его бумаги. И я позавидовал такому, чисто художническому, концу, потому что он оставляет надежду у оставшихся, что и дом, и архив просто перенесли в другое место мира, и автор и сейчас продолжает сочинять в тесной каморке, служившей ему кабинетом, под потрескивание в печке сосновых дров.

Вот дивно, думал я, шурша страницами, когда не от мира сего сочинитель, чудаки и графоман, поденно пишет и пишет, чтобы уберечь семью от голода, в какие-то сомнительные журнальчики для юношества, а из-под

его пера выходит странная фреска. Что ему, живущему посреди большевистской России в продуваемой балтийскими ветрами неприятной переименованной бывшей столице павшей империи, что ему южное Саргасово море, где хищные водоросли цепко обнимают и душат в объятиях потерпевшие крушение чужие корабли? Эти плененные умирающие бриги и каравеллы, каких он никогда не видел, со сгнившими парусами и ревматическим такелажем, с корпусами, разъедаемыми временем и солью, не автопортрет ли самого автора, бедного фантазера, и его соотечественников, отправившихся было из насиженного места в чудесное плавание, но угодивших как раз в самое болото земли, увязших в мировом тесте, захватившем их в пожизненный полон?

А эта причудливая коммунально-барачная жизнь, что ведут пленники этого жуткого моря, почти призраки в своем плавучем городе погибших надежд, с непонятной животной настойчивостью силящиеся воспроизвести иерархию и условности мира, в который им больше никогда не вернуться,— уж не пародия ли это? А его романтические герои, бестелесные счастливцы, вечно обреченные на сладкий сон счастливого финала,— им никогда не проснуться. Эдакий советский Андерсен, узнавший печальную участь вещей и наивно зашифровавший свои прозрения. Его демонам надмирным и демонам подводным равно не суждено уплыть-улететь от земной участи; им увязнуть в мировом тесте вместе со всякой сухопутной тварью... Сквозь дрему я успел отметить, что товарищ Беляев отчего-то ненавидел газеты. Буквально в каждом его сочинении, где дело происхо-

дило в некоей порочной буржуазной загранице, именно от продажных газет исходили всяческая мерзость и вонь, а его благородные герои именно с этой стороны отчего-то ожидали особенно гадостных неприятностей.

5

В следующий четверг Коля Куликов настиг меня в редакционном баре. Он бесцеремонно, как это было принято некогда в пестром зале ЦДЛ, подсел к моему столику и произнес фразу, показавшуюся мне несусветной:

— Хорошо ты им вставил, старик.

Кому это — им? И что я такое вставил, я никому ничего не вставлял.

— Я прочитал твою статью, Кирюха. Про Беляева. Класс, да и только. Верно, эти самые погибшие корабли — советская коммуналка, романтическая и тухлая одновременно, разросшаяся до размеров страны. Но они-то, эти заумные снобы, и по-русски-то говорить не умеющие, — ума не приложу, как они это напечатали?.. Поздравляю, считай, ты ступил на тропу войны. Впрочем, твое счастье, что в литературе этот ходячий Пейзаж После Битвы с Собственными Комплексами ничего не смыслит. Так что некоторое время в запасе у тебя есть...

Он продолжал болтать, исподволь указывал на того или этого, входящего или выходящего из бара, сыпал именами и должностями, я механически оглядывался, кое-что примечая, на самом же деле пребывая в состоянии оглушенном. О ком он отозвался столь непочтительно, я вообще не понял. Не о милейшем ли Инно-

кентии? Но обращаться за разъяснениями не стал, мне претила развязная манера собеседника. И другого я не мог взять в толк: что он имел в виду, говоря о тропе войны?

Тут к нам подошел, по-медвежьи переваливаясь, милый толстячок в пенсне и свободной клетчатой рубашке навыпуск. Он все время улыбался и вежливо пожал мне руку, когда нас представили. Звали его Эдик, Эдуард, а фамилия у него была совсем псевдонимная — Цедрин, и оказался он ни много ни мало заместителем главного редактора Газеты. Обращаясь к Коле Куликову, он тут же принялся рассказывать какую-то историю:

— Я же всегда говорю, не надо принимать всерьез то, что мы пишем в нашей Газете. Посуди сам: ко мне приехали знакомые из Франции. Куда их вести — ума не приложу, не в Дубовый же зал к вашим алкашам. И тут вспомнил, что накануне в нашем разделе «Ресторанная критика» читал про какую-то новую французскую ресторацию, куда устриц доставляют из Парижа самолетом. И какие-то там наварченные блюда — названий не упомянуть. Единственно, что меня насторожило, цены тоже вполне парижские, то есть в среднем раза в два ниже, чем в наших кабаках. Я эту самую «критику» проштудировал, назубок выучил пяток названий салатов и горячих блюд, ну, думаю, утра я нос моим французам. И мы заранее договариваемся, что заказываю я. И вот приходим мы в этот самый кабак. Прямо скажем, неказистый, скатерти, правда, чистые, но чтобы так и повеяло дорогой изящной простотой — тоже было бы натяжкой утверждать. Подходит официант — один. Без перчаток. Подает меню, карту вин. Но

я, как завсегда и знаток, заказываю, не глядя: мол, на закуску такой-то салат, не помню уж, как его звать, на горячее то-то, потом то-то, пить будем то-то... Замечаю, официант смотрит на меня с каким-то странным и очень недобрый выражением. Я еще что-то там вякаю, он молчит, но как-то набычивается. «Ну что,— спрашиваю,— все понятно?» «Ты куда пришел?» — он спрашивает. «Туда-то»,— говорю, радуясь, что французы не понимают по-русски. «Ну, если туда-то,— советует он и наклоняется к моему уху,— то смотри в меню и не выпендривайся».

— Он так сказал? — удивился я.

— Очень просто,— встрял Коля-Сандро,— ресторан этот бандитский, открыт для отмывки денег. Заказал рекламу, наша девочка и расписала по полной программе. Чистая джинса.

— Тише, тише, Николая, нас могут услышать! — Эдуард подмигнул и отправился дальше, мило переваливаясь. Он тут же подсел еще к одному столику и, кажется, принялся рассказывать ту же историю. Он походил на дежурного весельчака, каким всегда отведено место в любом штатном расписании, но никак не на начальника.

— Пересидел трех главных редакторов,— сказал Коля, глядя Эдуарду вслед.— И знаешь почему? Вовремя оказался у истоков, начинал с Хозяином... — Он ткнул пальцем в потолок.— Его привозит шофер каждый день ровно к десяти, он садится за компьютер в своем кабинете и играет до обеда в детские игры. Любит говорить, что в работу Газеты не вмешивается, поскольку его главный лозунг — «не навреди». И ведь верно — на-

чальство чаще всего только мешает работникам делать дело...— Тут Коля посмотрел мне в глаза и добавил ни к селу ни к городу, но серьезно: — А ты теперь просто старайся как можно дольше делать вид, что ты — свой.

Меня даже передернуло от его непрошенного совета. Похоже, он всерьез решил взять надо мной шефство. И я подумал, на него глядячи, с полузабытой с возрастом грустью о людях, что это он чужой здесь, совсем чужой среди этой интеллигентной публики, и ему, должно быть, очень одиноко.

Глава III

КОНСТАНТИН ТОЛСТОЙ

1

Но совсем скоро мне пришлось убедиться в справедливости некоторых слов моего нежданного коллеги — я вдруг влип в историю. Историю на первый взгляд глупую, пустяковую, яйца выеденного не стоит, но меня расстроившую донельзя. Виноват в ней был граф Алексей Константинович Толстой. Любимый мною и почитаемый нежнее Тютчева с Фетом.

Как там у Козьмы Пруткова: иной певец подчас хрипнет. Похоже, со мной это случилось чересчур скоро. Впрочем, писал я не о настоящем графе, но о «красном» Толстом, а уж мой любимец как-то сам собой пришелся не к месту на язык...

Но прежде чем пожаловаться на судьбу, расскажу подробнее об упоминавшейся уже службе рирайта, с нее все и началось.

Руководила этой таинственной службой дама, производившая с первого взгляда впечатление сногшибательной красоты,— брюнетка лет тридцати пяти Оля Асанова. Она была неправдоподобно сложена — у нас в России сказали бы — совсем как француженка, и справедливости ради согласимся, что и среди неуклюжих с толстыми икрами француженок изредка случаются худенькие, точеные женщины с очаровательными ногами, нежным очерком маленькой узкой груди, неуловимой нежности изгибом тонкой, высокой шеи, изысканными руками и плечами, ювелирными ушами, и при этом сложенные настолько пропорционально, будто их делали по логарифмической линейке. При том, что она была маленького роста, она не казалась кукольной — из-за выверенности пропорций,— хотя была, конечно, миниатюрна. У нее было худое строгое лицо, оставляющее впечатление мрачного совершенства; такие лица в России никогда не считались красивыми, помните, у Толстого, о маленькой княгине: на первое место мы ставим женщину милую. Зная за собой недостаток этой самой милости, искупая его, она много улыбалась, чуть кривляясь, а с мужчинами, которые представляли хоть малейший для нее интерес, кокетничая, играла девочку, и это жеманство ее портило, хотя, наверное, и приносило не единожды успех: глупцам должно было льстить, что такая роскошная девочка как бы ложится по-собачьи на спинку и притворно поднимает лапки вверх.

Но все это первые впечатления.

Приглядевшись и прислушавшись к ней, можно было обнаружить, что, во-первых, она весьма умна, что никогда не делает женщину слишком счастливой. Во-вторых, если и культурна, то в смысле сугубо буржуазном — обучена языкам, вкусу и манерам,— но никак не в русско-интеллигентском: скажем, о книге одного из самых мощных нынешних мировых авторов, заложенной ею посередине и соответственно лишь до середины дочитанной, она могла сказать — плохой роман, а по поводу одного из лучших наших поэтов военного поколения, ныне покойном,— зачем о нем писать, его же никто не читает. Короче, в ней было вполне мещанское неуважение чужого таланта и творческого усилия при пусть и умело скрываемом, но чрезвычайном высокомерии. К тому ж она была невероятно нервной особой — не в смысле чуткости или чувствительности, но именно болезненно нервической, курила по две пачки «Кэмэла» в день и впадала иногда в какую-то дрожь. Наконец, она была чемпионкой интриганства и, кажется, человеком патологического тщеславия. Добавлю еще, чтобы к этому больше не возвращаться, что способностей она была средних, ни к какой форме самостоятельного творчества не пригодной, но, как все женщины, обладающие букетом вышперечисленных черт, страшно амбициозной. Что называется, всегда все знала лучше всех, хотя редко когда была способна внятно объяснить, что же такое она знает.

Все ведающий Сандро рассказал мне позже и о ее, как это называется, личной жизни. Отец ее был членом Союза художников средней руки, но умел заработать и не был богемцем. В ранней молодости она вышла за-

муж за человека много старше ее и ничем не выдающегося, работала переводчицей в каком-то НИИ, родила двоих, что ли, детей и подрабатывала репетиторством. Прозаически развелась, поделив с бывшем мужем крохотную двухкомнатную квартирку. И вдруг взлетела: попала в Газету и стала жить со своим одноклассником-музыкантом, для полноты легенды — влюбленным в нее со школьной скамьи, сделавшимся к тому времени международного класса дирижером, евреем, конечно, но по имени, как ни странно это звучит, Макар. Этот самый Макар был женат на скрипачке, но ушел к Асановой, отчего-то так и не разведясь, купил ей и ее детям квартиру в Сивцевом Вражке, так что жила она, так сказать, в блуде, как бы наложницей, но в холе,— Макар был очень богат...

Вы скоро поймете, отчего я говорю об Оле Асановой так подробно — она, безусловно, сыграла роль злого гения в моей газетной судьбе.

2

Порядок был таков: сдаешь материал Иннокентию часов в пять — в шесть был предел, дэд-лайн, нарушив который ты уже становился преступником, и, как я не сразу узнал, тебя подвергали штрафу, вычитая деньги из зарплаты. Иннокентий ставил материал на полосу, и в каталоге номера против этой статейки возникала буква R. С этого момента автору вменялось сидеть дурак дураком и тупо ждать, пока кто-то в отделе рирайта не сподобится приняться за чтение его опуса. Если таковой энтузиаст находился, то рядом с первым R возникало

второе, а также в той же строчке — фамилия рирайтера. Коли претензий к автору не было, то рано или поздно появлялось третье R, то есть материал оказывался окончательно сдан в номер, и можно было со спокойной совестью шагать домой.

Но это был идеальный вариант.

Во-первых, служба рирайта, зевая и потягиваясь, принималась за работу хорошо к семи, а то и к восьми — они подчас трудились за полночь, и торопиться им было ровным счетом некуда. Но, главное, по мере чтения, как правило, у них возникали вопросы к автору, и тогда со второго этажа звонили нам на третий и просили такого-то спуститься. Этого рода вызов последовал для меня впервые лишь к концу третьего месяца моей новой службы, быть может, потому, что попервоначально мне никто ничего толком не растолковал, и я сбегал из редакции, как только Иннокентий принимал мою статью. Только много позже я спохватился, что делаю что-то не так. И было несколько странно, что никто мне не подсказал, что поступаю я против правил. Много позже я сообразил, что мои добросердечные коллеги лишь молчаливо позволяли мне набирать штрафные очки: мол, катишься мимо кассы на санках — и в добрый путь.

Надо сказать, с непривычки я разволновался. Коллеги смотрели на меня, ухмыляясь. «Ну вот, познакомьтесь с нашим рирайтом», — сладко протянула культуролог по имени Настя Мёд, грудастая умная дама, звезда отдела культуры, писавшая, безусловно, живее и злее всех остальных, — протянула, мне показалось, не без злорадства. В волнении отправился я на второй этаж.

В таком же, как наш, загоне сидели полдюжины мальчиков и девочек аспирантского возраста и вида. Прежде всего меня поразило выражение их лиц — у всех как одного донельзя высокомерное. Ни тени доброжелательности не скользнуло ни по одной физиономии, даже оттенка простой вежливости, когда я неловко представился и объяснил, что меня, мол, вызывали. Они, будто сговорившись, держались неприступно, как государственные чиновники некоего враждебного отделению гражданину ведомства, и это странно контрастировало с их обликами — интеллигентно-еврейскими преимущественно, нежными, чуть не светящимися, какие бывают у хорошо выкормленных и мытых, добротнo образованных отпрысков приличных семейств.

Меня поманил лысоватый юноша лет двадцати пяти с круглой головой, бесцветными глазами навывкате и с пробивающейся сквозь напускную небрежность врожденной застенчивостью. Говорил он очень тихим голосом, тщательно не глядя мне в глаза. Но говорил вещи совершенно наглые — за мою долгую писательскую карьеру ни один редактор со мной так никогда не разговаривал. Он указал на мой текст, который был высвечен перед ним на мониторе, и вкрадчиво спросил:

— Вы что, действительно почитаете советского Алексея Толстого пристойным писателем?

Признаться, я поначалу решил, что ослышался. Я искренне полагал, что дело этого плешивого юнца не полемизировать со мной по поводу моих литературных взглядов и пристрастий, но устранить какие-то нестыковки или — чем черт не шутит — стилистические ошибки, коли таковые обнаружатся.

— И потом, — продолжил он уже совершенно невозможным тоном, — вы действительно полагаете, что это вот слово, — он ткнул чистым правильным ногтем в текст, — именно так и пишется?

Я долго не мог понять, о чем он. Тогда он поставил над нужным словом звездочку. Там было написано «в предверии». Я пропустил второе «д». Кровь прилила к лицу: вместо того чтобы просто поправить опisku, он счел нужным вызвать меня к себе и, как щенка, ткнуть мордой в лужу... И тут я услышал за спиной ласковый женский голос.

— Вы читаете текст Кирилла, Андрюша? Не надо, я сама его уже прочла.

Я обернулся. Это была она, Оля Асанова. Я впервые ее видел и был сражен. Впрочем, я слышал в отделе несколько двусмысленные отзывы о ней — мол, вы еще не знакомы с Асановой, у вас еще все впереди — и был настроен настороженно. Но сейчас ее невероятно ласковая улыбка поразила меня. К тому же, не будучи знакома со мной, она уже звала меня по имени нежнейшим женским голосом. Мне в этот момент как нельзя кстати была поддержка, и она протягивала мне руку. Она смотрелась столь обворожительно, что я не удивился бы, коли мы оказались бы с ней на облаке.

— Пойдемте же.— Она чуть коснулась моего рукава. И я лунатически отправился за ней в ее стеклянную будку.

Как я сказал, статья моя была писана не о блистательном авторе «Царя Федора Иоанновича», а о красном графе. Причем абсолютно не помню, в какой связи, должно быть, что-нибудь юбилейное. Помню лишь, что я там позабавился, сравнивая сестер из «Хождений по мукам» (с фантазией название, хороший вкус был у красного графа) с чеховскими тремя сестрами, а Бурадино с Хлестаковым. За этот первый квартал своей службы я уже вошел во вкус общего стиля Иннокентиевого отдела — стиля парадоксальных сближений, тотальной иронии и того, что в молодежных кругах принято называть стебаловом... За многие мои опусы в Газете той поры мне теперь стыдно. Стыдно перед многими милыми и талантливыми людьми, о вещах которых я писал подчас с несвойственной мне разухабистостью, будто был не писателем, а амбициозным культурологом или — еще того хуже — одним из модных молодых литературных критиков, ради красного словца не жалевших никакой репутации. В таких случаях говорят: бес попутал. Но это слабое оправдание, хотя был бес, был, да не один — много бесов. Ну да это к слову...

Мы расположились у нее в кабинете. Она на своем месте за столом начальницы, на котором красовались в керамической миске большая кисть винограда и несколько груш — был отнюдь не фруктовый сезон, — а я напротив.

— Там в тексте, — запинаясь, начал было я, — одно слово... описка... надо исправить. ...

Я держал глаза опущенными долу и заметил под ее столом миниатюрные с белой опушкой теплые замшевые башмачки — на ней же были милейшие туфельки, сменная обувь, как говорили некогда в школе, — и почему-то не мог отвести взгляд от этих трогательных башмачков.

— Пустяки. Хотите кофе?

Я хотел.

— Возьмите грушу.

Я покорно взял.

— Сигарету? — Она придвинула мне свою пачку. Тогда я старался курить поменьше, сигарет вовсе не покупал, а набивал трубку, но только дома в кабинете. Трубка удобна тем, что гаснет. И пока ты ее чистишь, набиваешь, раскуриваешь вновь и вновь — хорошо думается. Сигареты же летят одна за одной, написал странички три, глянь — пачки как не бывало... Я поблагодарил и закурил ее «Кэмэл».

— На вас кое у кого есть виды, — всё улыбаясь и очень живо, с милыми гримасками и хмельно для меня, промолвила она. — Вы ведь знаете, субботний наш номер делается особо. Так вот, я хотела бы с вами посоветоваться...

Ее слова прозвучали музыкой: до сих пор никто в Газете ни о чем со мной и не думал советоваться. Хотя могли бы, наивно мнилось мне, посоветоваться хотя бы о том, как должна выглядеть моя литературная рубрика.

— Как вы думаете, Кирилл, вы могли бы писать для субботнего номера — ну, для начала раз в месяц — что-то вроде литературного портрета? На полосу. Так сказать, литературный герой месяца... — И не давая мне

слова вставить, подвигая чашку растворимого кофе и шоколад: — Подумайте, прошу вас. Оплачиваться эта работа будет, разумеется, отдельно...

Я обещал подумать, хотя мог бы согласиться тут же. С восторгом и бесплатно. За удовольствие хоть раз в месяц ее видеть. Но все-таки, хочу отдать себе должное, в ее невероятной ласковости что-то меня настораживало: я, так сказать, не улавливал сути сюжета. Будто желая объясниться, она произнесла:

— Я многое читала у вас. Не все, наверное, но то, что читала...— И она закатила глаза, как если бы дегустировала вино из подвалов Версаля, даже причмокнула.

Авторы глупы и тщеславны, и я сразу полюбил ее еще крепче — навек. Когда мы прощались, она встала проводить меня. Застенчиво крутя пуговицу на моем пиджаке, молвила:

— И знайте, я всегда помню, что вы мужчина, что вы большой писатель...

Я сделал какую-то нелепую стеснительную отмашку, что должно было подчеркнуть мое смирение и скромность.

— Нам хорошо будет работаться вместе, вот увидите, — заключила она и подала мне маленькую узкую ручку, которую я не решился в тот раз поцеловать.

— Кирилл,— позвала она, когда я уже покинул ее кабинет. Она стояла в дверном проеме, подавшись вперед и выгнув спинку в низком наклоне, обняв косяк двумя руками. — Все, что вы пишете для Газеты, я теперь буду читать сама...— И она крутанулась, как шаловливая гимназистка, на худой стройной ножке, дру-

гую в милой, изящной туфельке поджав в колене... Что ж, в первую же нашу встречу она умелыми нежными пальчиками прошла по всей моей бесхитроной душевной клавиатуре, как будто скоренько сделала лечебный массаж — изнутри. Впрочем, я не мог взять в толк, отчего она, руководя отделом риайта, так печется о субботнем выпуске. Мне она этого объяснить не желала.

4

За удовольствия, как знает любой мужчина, надо платить. И расплата не заставила себя ждать. На следующий же день Иннокентий, едва завидев меня, попросил зайти к нему в кабинет. Как только я сел напротив, он поднялся из-за стола и закрыл стеклянную дверь в коридор, чего никогда прежде не делал. Перед ним на столе лежал сегодняшней номер Газеты, развернутый на той полосе, где была моя статья о красном Толстом — с выносом, то есть она открывала блок, была снабжена портретом героя и помещена на полосе сверху: по здешним понятиям это было для автора престижно.

Прежде чем начать говорить, Иннокентий глотнул воздух, едва заметно покраснел, и кадык у него дернулся. Ясно было, что ему самому трудно и стыдно было произносить то, что он собирался мне сказать.

— В последнее время, — начал он, чуть заикаясь, — вы делаете много ошибок, Кирилл... Вы как-то назвали Мамардашвили — Зурабом. Но Зурабом зовут Церете-

ли. Мамардашвили звался Мераб, ошибка непопулярная...

Он не смотрел мне в глаза — точно так, как вчерашний юнец из риайта. И замолчал. Я молчал тоже, ожидая, что он скажет дальше. Я вдруг задался вопросом, отчего это он, мальчик из хорошей семьи, интеллигент, музыковед и эстет, заделался начальником. Ведь у нас в России в начальники идут совсем другого склада люди. Мне тут же вспомнились слова Сандро: пейзаж после битвы с собственными комплексами. И у меня как-то нехорошо сжалось сердце — в неприятном предчувствии, как бывает, когда вдруг спохватываешься, на тот ли поезд ты сел... Я сделал одну ошибку, вдруг отчетливо, как будто прочитал это напечатанным, понял я, роковую ошибку — я предал свой образ жизни в погоне, как говорили в прежние годы, за длинным рублем. Я еще ни разу не сказал это сам себе с такой безжалостной отчетливостью, как в тот момент, глядя на уводящего в сторону глаза одетого во все черное дворянина Иннокентия. Ведь когда я соглашался на это предложение, у меня были сомнения, были, были. Но я всячески рассеивал их теми или иными доводами, мол, и во всех странах Запада... Мы же пока оставались на Востоке.

— И теперь... Вот посмотрите, — и тонкой бледной рукой, высунув ее из черного рукава, Иннокентий двинул ко мне газетный лист, — здесь подчеркнуто.

Я, не торопясь, подавляя внутреннюю дрожь, достал очки, посадил их на нос и склонился над газетной страницей. «Как говаривал его тезка, настоящий граф Константин Толстой...» — прочел я и обмер. И тут же понял, как это вышло. Строча этот материал, я все вре-

мя остерегал себя, как бы не описаться, не перепутать Алексея Константиновича с Алексеем Николаевичем. Получилось как в старом актерском анекдоте про гонца из Пизы.

— Я вынужден, — произнес Иннокентий, мученически морщась, — понизить ваш оклад. — И добавил: — Извините, но у меня тоже есть начальство.

Мне даже стало жаль его. Как же надо стремиться к карьере, чтобы при его воспитании — ему же не могли в его приличной семье не говорить с юности о чести — быть таким сервильным. Мне вдруг ни к селу ни к городу представилась сценка: его, плохо сложенного косягозлого хлюпика-заику, бьют крупные второгодники, подкараулив в раздевалке после урока физкультуры. За что? Не только из классовой ненависти. Скорее всего он был ябедой и трусом, маменькиным сынком. Наверное, кидал исподтишка из своего окна гнилые сливы на стол для пинг-понга, поскольку его никогда не принимали во дворе играть со всеми, заставляя пропускать очередь? Или не давал никому списывать контрольные по алгебре и французскому?.. Я посмотрел на него внимательно. Глупости, конечно, мстительные фантазии.

— Извините меня, ошибки непростительные, верно. — Я произнес это как мог холодно. — Но это всего лишь описки, оговорки...

— Оговорки остаются ненапечатанными, а наши описки — это навсегда.— И, снова сглотнув, он закончил: — Это вам обойдется двести долларов... — И покраснел. — Ежемесячно.

Я пожал плечами — это была едва десятая часть моей нынешней зарплаты, — откланялся и вышел вон. Я

глупо повторял про себя: гонец из Пизы, гонец из Пизы. Я был взбешен. Где же был этот говенный хваленый рирайт, для чего, собственно, он нужен, как не для того, чтобы именно такие описки и исправлять! Но Оля! Что же вы-то, Оля, сплеховали с этим самым Константином? И этот Андрюша, знающий, видите ли, как пишется слово «преддверие», но пропустивший этого самого Зураба. И потом, что это значит: в последнее время вы делаете много ошибок? Их только две. И почему о Зурабе мне никто до этого ничего не сказал. И что это за последнее время, коли я работаю здесь без году неделю?..

Быть может, я бормотал что-то вслух. Или вид у меня был чересчур взмыленный, а морда покраснела от возмущения и стыда. Так или иначе коллеги как одна повернулись ко мне, нагло заложив ногу на ногу и выставив свои культурологические колени. Я взял пальто со своего стула — не успел даже повесить на вешалку, — развернулся и пошел по коридору прочь из редакции. Мне хотелось думать в этот момент, что я ухожу навсегда. Очень хотелось.

5

Когда я увидел Сандро в Дубовом зале, я неожиданно для самого себя обрадовался ему. Сидя здесь уж часа полтора — один, — я стал постепенно пропитываться горьким и сладким чувством покинутости миром, каковое у женщин предшествует непременно слезам. И под которое мужчинам так хорошо пьется в одиночестве. Это чувство не имеет ничего общего с жалостью к

себе, но предшествует возможности отстраненного взгляда на себя и собственную жизнь — увы, самые точные и смелые результаты такого анализа улетучиваются наутро вместе с хмелем... Я помахал Сандро рукой, он махнул мне в ответ, но подошел не сразу, с кем-то еще о чем-то говорил, наклоняясь то к одному, то к другому столику, и целовал руки пожилой, крашенной хной, с диким макияжем, в черном гипюре даме.

Наконец он добрался и до меня.

— Садись, садись, что тебе заказать? — приветливо спросил я. Я уже добил свой графинчик водки, и был, наверное, сильно подшофе, не чая с кем-нибудь поговорить.

Он принял мое приглашение как должное, ничуть не удивившись.

— Узнаешь? — показал он через плечо на гипюрную даму и назвал фамилию поэтессы, которая, как я полагал, была совсем из другой эпохи и давно должна была бы умереть. И меня удивило, что он знает не только людей нашего поколения, но — казалось — всю здешнюю литературу. Поскольку я был в состоянии несколько воспаленном, то у меня мелькнула мысль — не общается ли он и с потусторонним миром, вызывая духов ушедших в небытие сочинителей.

— Тебя Люда обслуживает? — спросил он.

— Х... ее знает, — отвечал я и сам себе удивился: я редко матерюсь, всегда полагал, что это удел юнцов и людей, не слишком уверенных в себе.— Наверное, она,— добавил я, как будто отличал здешнюю Люду от здешней же, скажем, Зои.

Сандро махнул рукой, тут же подошла официантка, широко улыбаясь своему человеку; он остановил меня жестом, велел наполнить мой графин, тащить еще тартелеток, зелени и маслин, а себе заказал коньяка.

— Что, они тебя уже достали? — спросил он, усмехаясь и вглядываясь в меня.

— Ты уже знаешь? Ну да это все пустяки, глупейшая случайность и накладка... — И я тут же выложил ему всю историю как на духу. Причем старался изобразить происшедшее в занимательном духе, с прибаутками, сейчас мне действительно все это казалось уже лишь недоразумением.

Но Сандро, меня слушая, ни разу не улыбнулся.

— Это не пустяки, — сказал он, — и не случайность. Я тебя предупреждал, что они будут особенно за тобою сечь. У них принято новеньких, коли они не вписались сразу, хорошенько потоптать. Это первый наезд.

Принесли водку и коньяк, и мы, не откладывая, чокнулись.

— Ты хоть однажды писал в Газете о своем человеке? По заказу или по чьей-то просьбе...

Я искренне удивился.

— Нет, конечно. Писал о знакомых, но скорее нелицеприятно...

— Ты хоть раз выпил с ними? — спросил он, закусывая маслиной.

— Но мне никто и не предлагал. И потом, с чего бы мне с ними выпивать? Там в основном дамы. К тому же мы ведь почти незнакомы...

— Предложить должен был ты. Принести хоть бутылку шампанского. Так полагается.

— Но в редакции запрещено пить.

Сандро не стал комментировать это мое заявление, лишь ухмыльнулся.

— Ты оставался там хоть раз позже десяти?

— Нет, — пожал я плечами. — Зачем мне было там оставаться?

— Тогда ты знал бы, что в Газете творится по вечерам... Наконец, ты мог бы хоть напроситься с ними в ресторан, они раза два в месяц ходят в ресторан всей компанией. Я же говорил тебе: ты должен стать своим.

Мне было очень странно все это слышать. Мне отчего-то казалось, что сам дух нынешней вольной эпохи индивидуализма и бесцензурной раскрепощенной культурологии исключает фамильярную компанейщину советских редакций былых времен с их уравниловкой, общередакционными праздниками, коллективными отмечаемыми днями рождений и пьяным случайным разворотом. Как видно, я ошибался, и изменить людей труднее, чем конституцию.

— Послушай, — сказал Сандро, будто читая мои мысли, — журналюги и есть журналюги. Они всегда будут сплетничать, завидовать и доносить друг на друга по начальству. Они неудачники и неудачницы. И их бесит чужая самодостаточность. Все эти люди, которые работают в отделе культуры, эти дамы под сорок, эта Настя Мёд и как там ее — Галя Свинаренко, этот музыковед Роже и сам их начальник, они что, довольны своей участью? Они те, кем мечтали быть?

Признаться, я не думал об этом.

— Так вот, — продолжал он с неприятно кольнувшей меня назидательностью, — они не довольны своей

участью. Еще несколько лет назад никому из них и в голову не пришло бы, что они, такие рафинированные и тонкие, цвет российской музыковедческой мысли и интеллектуальная надежда нации, будут служить в Газете и каждый Божий день бежать на службу. Чего хотят те, кто не доволен собой и судьбой? — Он выдержал паузу.— Правильно, они хотят одного: чтобы их полюбили. А ты их не любишь. Ты ведешь себя высокомерно,— заключил он с некоторой даже обидой.

— Высомерно? — изумился я, сам себе всегда казавшийся эдаким скромнягой.

— Ты, пусть невольно, подчеркиваешь, что они тебе неровня. Они посылают тебе меседж: полюби нас. А ты пропускаешь это мимо ушей. За это они и будут тебя выдавливать. За то, что ты не хочешь быть одним из них. За то, что в глубине души ты уверен: твоя работа в Газете — дело временное. Думаешь, этот жопастый Кеша сам придумал понизить тебя в должности? Нет, конечно, это решил коллектив, эти бабы вертят им как хотят. К тому же он — несостоявшийся гаремщик, не Дон Жуан, конечно, соблазняющий баб на свой страх и риск, но именно гаремщик, использующий служебное положение. И когда выбился в начальство, почти со всеми из них переспал...

— Да? — удивился я.

Забавно: эдакий гарем из феминисток. Кроме того, трудно было представить себе упакованного в черное косоглазого интеллигента Иннокентия в роли Казановы. Какого бы то ни было запаха флирта в Газете я вообще никогда не чувствовал. Поначалу даже удивлялся этому, вспоминая сущий бардак в давней советской редакции

«Юного природоведа», и сам же Сандро заметил как-то по этому поводу, что, мол, там, где делают деньги, — там не до траха. Помнится, я еще удивился, какие такие здесь делают деньги, коли все получают фиксированный оклад.

Но в главном он был прав. Конечно, я говорил себе много раз, что эта самая Газета — лишь на время. Что отсижусь в ней, пережду тяжелые времена и вернусь в свой домашний кабинет, на свой писательский диван... Мы еще раз чокнулись. То и дело подходили к нашему столику знакомые и полужнакомые литераторы, некоторые целовались с Сандро, но даже те, с кем были у меня всегда самые дружелюбные отношения, кланялись, казалось мне, несколько отчужденно и холоднее обычного, и уж не в том ли было дело, что я заделался критиком в этой самой проклятой Газете. Что ж, от воронов отстал, а к павам не пристал... Хотя я и был уже здорово пьян, но поймал себя на том, что, кажется, во мне обнаруживаются симптомы самой обычной паранойи.

— Мы ведь строгаем с тобой свои статейки с повышенной скоростью, — продолжал фамильярно Сандро. — И не удивительно, что делаем ошибки: я тут обозвал главу Московской думы Самсоновым, тогда как он оказался Платоновым. А одного кремлевского понизил из помощников в советники. Или наоборот, мне-то один черт, я в этом и разбираться не хочу. Но ведь в редакции, как в деревне, все делается известно. Вот, скажем, твоя симпатия Асанова. Уверен, даже и приметь она этого самого Зураба — оставила бы. Ведь она за твоей спиной потешается: мол, если так неграмотны нынеш-

ние литераторы, то чего же ждать от «экономистов» или «политиков»...

Мне стало жарко: быть может, я не был бы так уязвлен, даже узнав об измене жены. А Сандро безжалостно продолжал:

— Я-то тебя понимаю: мы не уважаем газетный труд, для нас это лишь постылая да и стыдная поденщина...

— Но послушай, — взбеленился я, не столько задетый его менторским тоном, сколько раненный коварством возлюбленной, — а для тебя твоя светская хроника — только халтура? Понимаю, ты не вставишь ее в собрание сочинений, но...

— Это жанр, — довольно холодно прервал меня Сандро. — И мне пришлось вслепую нащупывать его законы. Ну да не о том сейчас речь, как-нибудь об этом отдельно поговорим. Есть другая сторона, — невозмутимо продолжал он, опять наливая: мне — водку, себе — коньяк. — Они уязвлены еще и потому, что считают себя выше тебя, а получаешь ты столько же и занимаешь престижную должность...

Тут я не смог скрыть самого искреннего и глубокого удивления, что лишний раз доказывало правоту Сандро.

— Да-да, кто такой, с их точки зрения, средней руки сочинитель рассказиков да повестушек? Ты ведь не задавал себе такой вопрос.

Я не задавал. И кивнул, хоть мне вовсе не понравилось, в какую строку литературной таблицы о рангах он меня записал.

— А я дольше прожил с ними и спрашивал себя об этом. Так вот, мы с тобой, два более или менее известных писателя, печатающиеся и за границей, мы для них — пустое место. Во всяком случае, с тех пор, как оказались с ними на одной доске в Газете. С их точки зрения, и сочинитель симфоний, и исполнитель концертов — лишь поставщики материала для их интерпретаций. Лишь они, культурологи, музыковеды и ценители, обладают всей полнотой знания. Лишь они пополняют мировой Архив культуры.

— Да-да, — пробормотал я, — на Архив мне сегодня Иннокентий, кажется, намекал. — Я припомнил, как с пафосом тот произнес — навсегда. Но тогда я не врубился.

— Они! А вовсе не так называемые творцы. Мы с тобой, сочиняя оригинальные тексты, привыкли относиться к литературной критике, как к обслуге. Нам кажется, что критики на нас паразитируют: не сочиняй мы, им не на чем было бы танцевать свои унылые критические танцы. Но они-то, они-то думают совсем иначе. Они-то считают, что некий гипотетический будущий исследователь культуры нашего времени бросится читать в первую голову именно их опусы, где уже все сказано и истолковано. А если уж окажется очень въедлив, то, быть может, и поинтересуется кое-какими оригинальными образцами. Из исследовательской скрупулезности, быть может, и откроет книжечку какого-нибудь беллетриста интересующего его времени. Быть может, это будет Кирилл К. А может быть, Николай Куликов...

Я взглянул на Сандро прямо. Я не предполагал, что могу услышать от него нечто подобное. Он был много

умнее, чем я полагал. Как говаривал Бунин, русский литератор думает о чем-либо лишь в том случае, если ему нужно об этом предмете написать. Сандро — просто думал. Вот оно, высокомерие, сказал я сам себе, с какой это стати хоть на секунду я возомнил себя умником, а его — простаком...

А он закончил :

— Поэтому мало того, что ты высокомерен. Ты к тому же и не имеешь права на высокомерие — с их точки зрения. И будь спокоен, они сделают все, чтобы указать тебе твое настоящее место... Пойми, милый, в Газете крутятся большие деньги. И даже мы с тобой получаем в десяток раз больше, чем получают люди в любой другой московской редакции. А где деньги — там борьба, и нужно уметь держать удар...

— Что за чушь?! — воскликнул я. — Не на ринг же меня позвали!

— На ринг. Впрочем, — небрежно, как если бы ему наскучил разговор, обронил Сандро, — твое место не самое хлебное...

Я опять сделал вид, что не понимаю, на что он намекает. Меня окончательно развезло и понесло на проповедь. Я говорил, что нет страшнее заблуждения, чем куцая мысль, будто человек человеку волк. Живи просто, живи мудро и гляди в глаза ближнему своему. И если мы пойдем друг друга, восклицал я, много громче, чем следовало, то мы победим войны и болезни и самую смерть поперем... А мы все воюем друг с другом, повседневно вызывая на бой, и тут я совсем закручился.

— Вот именно, — только и заметил Сандро. — И будем воевать...

Надо ли говорить, что в этот вечер я напился самым постыдным образом; кричал, кажется, на весь ресторан, что я дворянин, а значит, христианин во многих поколениях, и хоть я и не крещен, но многие поколения моих предков ходили к причастию, и что я призываю присутствующих покаяться...

Сандро выволок меня из ресторана и загрузил в такси, хоть я и рвался, кажется, за руль. Машина моя осталась притуленной у ЦДЛ, а я не помню, как ввалился в дом, и жена не на шутку испугалась: так я напился в последний раз, кажется, на банкете в день защиты еи диссертации, приревновав ее к бывшим сокурсникам, которые, кстати, меня и напоили... В довершение всего меня долго рвало в уборной. Стоит ли говорить, что опухший, отмокнув в ванне, выпив крепчайшего чая и приняв аспирин, маясь похмельем и горчайшим чувством вины и стыда, я лишь к полудню собрался, добрался до ЦДЛ на такси, сел за руль и, жуя жвачку, покатыл в редакцию, мучаясь стыдным страхом наказания за вчерашний прогул и ожидая новых служебных неприятностей. То, что мне говорил вчера Сандро, я не мог припомнить связно, но знал, что говорил он самую что ни на есть истинную правду.

Глава IV

БЕРУТ

1

Впрочем, мне хотелось думать, что живу я теперь барином. На самом-то деле, как я начинал понимать, барином я жил прежде — полунцим барином с богемными причудами, вольными привычками и возможностью распоряжаться своим временем как заблагорассудится. А теперь не слишком успешно осваивал самое обычное мелкобуржуазное прозябание...

Жена и прежде никогда не интересовалась моими заработками: где и сколько я получил гонорара. Впрочем, я никогда ничего от нее и не скрывал, докладывал, когда удавалось что-нибудь существенное срубить, и выдавал деньги на хозяйство. А сколько оставалось у меня — это ее никогда не трогало, главное, чтоб все были сыты и обуты. Впрочем, она знала, что я не склонен к мотовству и если ей не хватает денег, она всегда может найти сотню-другую в старом портмоне в среднем ящике моего письменного стола. Так что и прежде в финансовых вопросах она была очень деликатна, а теперь, когда суммы выдачи многократно возросли и, главное, стали регулярными, и вовсе потеряла к этой стороне жизни какой-либо интерес. Впрочем, однажды, в полусне, сладко потянувшись ко мне и прильнув, она пробормотала:

— А все-таки как хорошо, что у нас есть теперь стиральная машина...

И эта ее произвольная реплика меня насторожила.

Я купил себе компьютер с CD и колонками, с видео, и слушал музыку барокко прямо в кресле за своим письменным столом, и под нее гнал свои бесконечные статейки и рецензии. Теперь я сочинял дома — для Иннокентия плюс раз в месяц то, что называла Асанова портрет, в субботний номер. С этими самыми портретами вышло много мороки, но об этом позже, пока, коли речь зашла о деньгах, скажу лишь, что гонорар от одного субботнего номера раз в месяц многократно покрывал те убытки, что нанес мне Константин Толстой. Но даже то обстоятельство, что теперь я ходил на службу с собственной дискетой, а не сидел за монитором посреди общего гвалта, сиясь хоть что-нибудь сообразить, не слишком облегчало мою участь.

Я стал уставать.

Нет, это не была физическая усталость, но всякий раз, когда предстояла поездка в редакцию, мне приходилось пересиливать себя. Проводил я там пусть и почти ежедневно, но всего-то часа два-три, однако сосуществование с коллегами, холодно сдержанные встречи с Иннокентием, общение с несносными малышами и малышками из рирайта, наконец, вызывающее оскомину ставшее дежурным кокетство с криводушной Асановой меня самым настоящим образом изматывали и доканывали.

Это была усталость, так сказать, метафизического свойства, как если долго гребешь на лодке против ветра на моем деревенском озере: я могу сидеть за веслами целый день, не уставая, однако когда налегаешь, но не

движешься, это давит скорее не на мышцы, а на психику. Дошло до того, что я с неподдельным тоскливым ужасом переступал редакционный порог и с невероятным облегчением пулей вылетал за дверь, ни минуты лишней не задерживаясь в Газете. Я теперь с изумлением приглядывался к жене, которая шла в свой академический институт, как на праздник. Правда, ей там практически не платили денег, мало и нерегулярно выдавая на булавки, и присутственный день у нее был лишь раз в неделю, но это был истинно радостный день для нее: она любила свою работу, группу молодых дипломников и аспирантов, коей руководила, свои микроскопы, пробирки и реторты, от которых меня со студенческих лет воротило, — она микробиолог и училась некогда на соседнем отделении того же биологического факультета тремя курсами ниже меня.

Мне же деньги теперь как раз платили с дивной регулярностью. Я впервые получал раза в четыре больше, чем требовалось на ежемесячную жизнь нашей маленькой семьи. Я мог делать подарки жене и дочке. Вдобавок к стиральной машине — с отжимом и сушкой — я приобрел роскошную голландскую широченную кровать взамен давно промятой полутораспальной нашей тахты; жена силком заставила меня завести два новых костюма, полдюжины итальянских рубаш, несколько пар приличных штиблет для разных случаев и даже три шелковых галстука, которых я отродясь не носил, — я никогда не придавал значения одежде и проходил всю свою писательскую карьеру в шнурованных говнодавах, в вельветовых с потертостями и отвислостями штанах, майках, свитерах и куртках. Наконец, я был волен те-

перь хоть всякий день ужинать в ЦДЛ, но даже на это у меня зачастую не оставалось сил после редакции.

Мой теперешний режим свелся к следующему. Утром я дома набрасывал очередной материал. Садился в машину и ехал в объезд, минуя пробки в центре, через Крылатские холмы, мимо гребного канала на другой конец Москвы — мы живем на Юго-Западе, редакция же располагалась вблизи Речного вокзала. Там я перегонял сочиненное дома в свою персоналку, правил, кое-что добавлял, перебрасывал Иннокентию, ждал рирайта и, дай Бог, в восемь по пустым уже центральным улицам гнал домой. И, только выключив зажигание и откинувшись на спинку сидения у себя во дворе, я понимал, что смертельно, по-звериному устал. Возраст, говорил я себе, но дело было не в возрасте, конечно.

Я перестал читать что-либо, кроме того, о чем мне предстояло писать. По вечерам я подчас засыпал перед телевизором, поставив перед собой бутылку бурбона (да-да, я теперь вполне мог позволить себе пить любимый мною «Джек Даниэл»). Жена на мои ставшие практически ежедневными возлияния смотрела все с большей тревогой, а потом и с раздражением, и я завел обычай уходить в кабинет, забирая пузырь с собой, включать компьютер и смотреть с его помощью идиотские кассеты, которые я тоже брал в Газете,— там сотрудникам предоставляли и этот вид обслуживания. Все чаще я и засыпал в кабинете на кушетке, под пледом, не раздеваясь. И однажды жена с угрюмым видом постелила мне на эту самую кушетку постель. «Если уж ты спишь здесь, то хоть спи не как пес, а по-человечески», — сказала она.

Короче, даже руин не осталось от моих былых привычек. Теперь мне приходилось вставать много раньше прежнего, в ванне читать вчерашний номер Газеты, причем всякий раз я приходил в раздражение, видя, как выправили мою статью: то ли рирайт после моего ухода — они часто прибегали к такой подлой тактике, — то ли в отделе, не сказав мне об этом ни слова. Ни о каком сочинительстве, разумеется, нечего было и думать. В первые месяцы я еще уповал на свою силу воли и дисциплинированность — со мной в жизни ни разу не случилось, чтобы я задержал обещанный кому-либо текст хоть на сутки, и я всегда гордился своим профессионализмом, — уповал на то, что стану вставать раньше и первые часа два раннего утра буду посвящать ежедневно своей литературе. Какое там! Во-первых, я сова и утром всегда соображаю слабо. Во-вторых, кукурузный бурбон никак не рассчитан белыми англо-саксонскими протестантами для потребления стопарями в неразбавленном виде. Поэтому и к девяти мне стало трудно подниматься, и я все чаще испытывал неведомое мне прежде чувство похмелья.

И еще одно. Бывало и раньше, что я просыпался перед рассветом в нашей спальне и час-полтора лежал с открытыми глазами, слушая покойное, размеренное посапывание жены и прикидывая, как я поправлю то, что написал накануне вечером, что выкину, что добавлю, а что переставлю местами. По легким занавескам ходили предрассветные тени, и, бывало, я вдруг ухватывал из предутренней мглы какое-то нужное словцо и подавлял в себе желание сейчас же, босиком, побежать в кабинет и заменить им то, которое казалось неточным

- боясь жену разбудить. Снова засыпая, я все счастливо твердил про себя это словцо или оборот, обещая себе не забыть их, но, как правило, все забывалось, а потом, следующей ночью подчас всплывало опять...

Благословенные и безмятежные, вдохновенные блаженно-скудные времена... Теперь предутренняя бессонница носила куда более коварный и крутой характер. Я просыпался один на узкой и жесткой кушетке, и мне не хватало воздуха. Я слышал и чувствовал, как пульсирует в груди сердце и толчками, с покалыванием, будто с натугой загоняет кровь в аорту; мне становилось страшно. Я зажигал свет, наливал себе глоток бурбона и закуривал — я опять стал покупать сигареты. Не отступала мучительная навязчивая мысль: я живу не так, как должно. И настигало сознание собственной бездарной ничтожности. Меня вовсе не утешало теоретическое знание, что я вступил в плохой мужской возраст — в полосу разочарований в себе и конвульсивных попыток что-либо изменить, лелея тайный план спасения. В эти мутные часы мне представлялось, что я прожил жизнь зря, проиграл ее и профукал. То, что раньше казалось пусть частного значения, но победами, теперь представало в ином свете: жалкие потуги, никому не нужные километры бездарных строк; какой ты к черту писатель, говорил я себе, ты литературный критик второго сорта, даже не культуролог, неудачник, журналюга в английском твиде и новых австрийских башмаках. И мне оставалось лишь ненавидеть Газету, презирать себя и, случалось, глотать слезы в темноте.

Почему я тогда, проработав в Газете еще только первые пять-шесть месяцев, не ушел оттуда куда глаза глядят? Все очень просто: в доме появились деньги, и мои жена и дочь не широко, но плавно тратили их. И тратил их, конечно, я сам. Это с одной стороны. С другой, за эти месяцы в Газете я не написал ни строки — ни строки, страшно сказать! — никакой иной, кроме как газетной, продукции, и у меня ничего нигде не было, что называется, на подходе, а ведь прежде я более или менее регулярно печатался. Все гонорары за прошлые свои вещи я уже получил и прожил, даже те полтысячи фунтов от английского издателя моей последней книги дошли-таки до меня, но новых поступлений не предвиделось. И вот еще что: в конце концов мы с женой могли бы существовать очень и очень скромно, не привыкать, но в этом году дочь кончала школу и за ее дальнейшее обучение в Международном университете, куда она уже ходила на подготовительные курсы, предстояло в будущем платить, и немало. Мою развалюху-машину тоже надо было содержать, а если подходить практично — то срочно менять. Тестю я обещал этим летом построить на его дачном участке баню. Жене — купить наконец шубу вместо ее потертой дубленки. И давал несколько раз по несколько сот долларов матери на лечение. А летом, когда дочь сдаст вступительные экзамены, погрозился отвезти всю семью на пару недель на Корфу...

Впрочем, все еще можно было похерить — и баню, и Корфу, и шубу. И закатиться в Малеевку — пусть даже

теперь ее оккупировали по большей части сотрудники Сбербанка, устраивавшие там по уик-эндам собачьи свадьбы. И жена поняла бы меня. Но я, соскочив с привычной резьбы, испытывал уже страх перед будущими своими возможными литературными начинаниями. Проще говоря, я не знал — о чем мне теперь писать. Все больше затягиваясь в новую для меня, так стремительно меняющуюся жизнь, я, как эмигрант, не мог схватить код происходящего вокруг.

Мало того что прежний ход моей внутренней жизни оказался разрушен, но и облик окружающего мира, образ среды, в которой я привык жить,— все стало расплываться и уходить из-под рук. Мои недавние товарищи, с которыми когда-то в молодости мы вместе бурно начинали, воевали на полузапрещенных литературных вечерах, а позже штурмовали редакции, как-то незаметно и без остатка растворились; вдруг оказалось, что на Рождество, когда мы с женой традиционно звали моих литературных друзей на гуся, придут только ее коллега с мужем, одна давняя ее подруга, старая дева, и мой школьный друг Миша, художник-компьютерщик, с которым мы в прежние времена и виделись-то раз в пару лет.

Рушился прежний мир.

Один мой товарищ по ранним рассказам и эскападам съехал в Германию, получив какой-то грант, но так и не объявился на родине, а всплыл через год в Нью-Йорке — он когда-то занимался альпинизмом и теперь мыл стекла небоскребов, купив в кредит дом в Нью-Джерси. Другой мой давний приятель, издавший с полдюжины книг прозы, забияка, гитарист и бретер, как-то

в дым пьяный подошел ко мне в ЦДЛ, обнял за плечи и пробормотал со слюной: «За что тебя ценю, Кирюха, так это за то, что ты остался в профессии». И прослезился; сам он на пару с женой руководил теперь туристическим агентством. Другой мой близкий и любимый товарищ, милейший парень и талантливейший поэт, автор к тому же изящнейших литературных эссе, от жены, напротив, ушел и пристал к художественной галерее, принадлежавшей его любовнице. Сам он теперь не мог своими писаниями заработать ни гроша...

Хотелось бежать. Иногда мне приходили в голову вовсе вздорные мысли: сочинить, скажем, детектив,— впрочем, я отлично понимал, что и для писаний сочинений такого рода нужен особый талант, которого у меня нет. Как говаривал Белинков: нельзя забывать, что глупость — это такой ум. Помнится, в самые кромешные и марзматические годы позднего Брежнева мы с еще одним моим коллегой раздобыли где-то заказ на сочинение сценария представления для сельских агитбригад. Мы были нищие, веселые и наглые, но выполнить этот заказ как надо, с высоким профессионализмом прирожденных халтурщиков, конечно же, не могли. Единственное, что я помню, так это четверостишие, сочиненное мною:

В аплодисменты зеркальных зал

Вслушайся — даль безбрежна!

Всем и каждому слово сказал

Лично товарищ Брежнев!

Стоит ли говорить, что гонорара за эту издевательскую фигню мы не получили, но оттянулись, как говорит моя дочь, славно. К слову, этот самый мой приятель то-

же сгинул с литературного небосклона и выпал из моего поля зрения, хотя начинал громким романом и парой пьес, шедших какое-то время в провинции; кажется, редактирует нынче какой-то компьютерный журнальчик...

Некуда было бежать. И, конечно же, дело было во все не в Газете. Газета была лишь симптом. Газета сама проросла на новой почве и принялась махрово цвести в новом воздухе совсем непохожей на прежнюю эпохи. И выбора не было: нужно было или принимать новые правила игры, или идти в управдомы.

3

Впрочем, правила, по которым жила и цвела Газета, мне мало-помалу становились все яснее. Я приглядывался исподтишка к своим коллегам и все больше поражался тому, насколько они невротизированы. Как-то среди бела дня в отсек вошла, не сняв еще шубы, Галя Свинарченко, крупная высокая женщина-культуролог с всегда будто заплаканными серыми глазами и с округлыми и мягкими, как ласты тюленя, руками, вошла и громко сказала:

— Представляете...

Все повернулись к ней.

— Представляете, — повторила она с несколько даже иронической гримасой, но вместе и с изумленной полуулыбкой, — меня сейчас толкнули в метро. Хозяйственной сумкой. Ударили по ногам. — И, продолжая все так же смутно улыбаться, она стала медленно наливать слезами. Видно было, как у нее распухает лицо, а влага все никак не шла из глаз, она как бы плакала

внутри, и смотреть на это было почти невыносимо. Незаменимая Вероника тут же увлекла ее прочь, в туалет, должно быть, и через четверть часа эта самая Свиноренко, зажав в кулаке носовой платок, уже сидела за своим монитором.

Хорошо, это дама, у нее могла быть в этот день менструация и сотня еще самых разных женских огорчений: она давно разошлась с мужем, одна воспитывала дочь, к тому же на руках у нее была старая мать-пенсионерка, и она была единственный кормилец в семье. Но в другой раз я наблюдал и вовсе душераздирающую сцену: музыковед Роже, молодой по поведению человек лет тридцати восьми, с торчавшими дыбом, как у Эйнштейна, рыжими кудрявыми волосами, писавший пресно, но очень дотошно — отслеживал концертную жизнь, — работал в тот день за соседним монитором. Вдруг он стал как-то странно икать, я взглянул на него раз, другой, но ничего необычного не заметил, разве что разлившуюся по его физиономии красноту: он упирался взглядом в экран, на котором был какой-то текст, и при этом странно вздрагивал и пучился. Я стал опасаться, что этот тоже сейчас зарыдает или его хватит удар, но он вдруг прыснул от смеха. Он старался сдерживаться, прикрывал рот ладонью, однако смех распирал его, и, наконец, он откинулся на спинку кресла и громко захохотал. Воровато оглянувшись, он заметил, что на него озираются коллеги, и попытался собраться, но хохот рвался у него изнутри.

Кто-то спросил:

— Что ты там нашел такого смешного?

Но он уже не мог говорить. Он бешено хохотал, и я подумал, что впервые вижу, как человек натурально на глазах окружающих сходит с ума. Ему дали воды, он все прикусывал то собственный язык, то край стекла, и вода стекала по его курчавой бородке. Наконец, ему удалось несколько глотков и он стал понемногу затихать. А во все опав, с диковатым удивлением огляделся вокруг. Похоже, он не понимал, что с ним произошло.

И еще один случай. Я был в кабинете Иннокентия — он просил что-то изменить в моей очередной статье, — когда на улице раздались один за другим два выстрела. Я тут же приподнял пластиковые жалюзи, чтобы выглянуть наружу, но Иннокентий вдруг тонко выкрикнул:

— Не подходите к окну!

Я даже вздрогнул от этого его крика: он всегда держался с тем ненатуральным спокойствием, какое пытаются соблюдать люди, склонные к истерии. И уже тише, когда я отпустил жалюзи:

— Разве можно подходить к окну, когда стреляют?

Я подивился таким его навыкам.

— А что, у вас здесь часто стреляли? — спросил я.

— Бывало, — согласился он неохотно.

И тут я вспомнил, что однажды, еще до моего сюда прихода, у входа в Газету кто-то взорвал бомбу — правда, дело было ночью и никто не пострадал. А в своей персоналке я как-то обнаружил инструкцию по, как скажи бы прежде, гражданской обороне, но не стал ее читать, — быть может, среди прочего там содержалась и рекомендация не прилипать к окнам, коли внизу началась пальба.

И этого было достаточно, чтобы понять, как далеки от реальности были мои первые благодушные впечатления от редакции Газеты. Однако о самом страшном случае я еще не рассказал. Был обычный рабочий день, когда вдруг по коридорам забежали люди с четвертого этажа все с теми же сотовыми телефонами в руках, в которые они что-то кричали на бегу. И было странно видеть этих вальяжных самоуверенных господ столь переполошенными. Вскоре под окнами завывала сирена скорой помощи, и все сотрудники ринулись на второй этаж. Заразившись общим безумием, поспешил туда и я. Оказалось, сидя прямо перед компьютером, от сердечного приступа скончалась подчиненная Асановой — девушка лет двадцати пяти. Это была самая симпатичная сотрудница в рирайте, тихая и безответная. Впрочем, она читала экономистов, так что по службе я никогда с ней не сталкивался, только поглядывал не без отцовского умиления на хрупкую ее фигурку, на кругленькое бледное личико в веснушках вполоборота, всегда повернутое к монитору, на пепельные, уложенные во все не по моде, а зачесанные за уши, гладкие легкие волосы, схваченные дешевой заколкой. Единственное, что я знал о ней, так это то, что рядом с ее клавиатурой всегда стояла доверху полная окурков пепельница. Я даже помню марку сигарет, какие она курила, — «Житан».

4

Теперь мы регулярно ужинали с Сандро — обычно по четвергам, это был его единственный присутствен-

ный день в редакции, когда сдавался субботний расширенный номер, а значит, и его светская полоса. Он тоже бывал вынужден сидеть до восьми и на свои светские рауты в этот день уже не попадал. Иногда мы оказывались в ресторане Дома журналистов, но чаще в странном духане «У мамы Зои», где подавали дешевый и домашнему приготовленный грузинский корм. Ибо наш Дубовый зал прикрыли на реконструкцию, и в писательской среде ходили слухи, что ЦДЛовское начальство ресторан попросту продало каким-то туркам и мы не увидим больше своего клубного пристанища как своих ушей. Это тем более походило на правду, что проданными оказались и Дом творчества в Голицыне, и частично — в Малеевке, и все коттеджи в Переделкине, и еще Бог знает что,— причем весь этот грабеж осуществляли новые «демократические» власти в Союзе, за которые, помнится, я сам в либеральной эйфории некогда двумя руками голосовал на писательском пленуме...

«У мамы Зои» — презабавное местечко. Тесный зал в подвале без окон с деревянными лакированными столами и резными тяжелыми стульями убран по углам и по потолку гирляндами искусственных, кладбищенского вида цветов. На стенах висит какая-то несусветная живопись: с грязноватыми подпалами мопс, девушка с вялым виноградом, довольно натурально выписанный вареный, судя по красной шкуре, рак и пара пейзажей неаполитанских свойств. В прихожей, впрочем, есть и стыдливая березка, задвинутая в тень вешалки. После девяти в зальчике, в котором стоят густой дым табака и плотный запах острой, жирной пищи, появляются напоминающие персонажей Пиросмани два немолодых му-

зыканта, один с гитарой, другой с аккордеоном. И начинаются, конечно же, нескончаемые «Сулико» и «Тбилисо». Здесь, как ни странно, уютно, довольно чисто и очень спокойно. Контингент посетителей тоже довольно забавен: случаются клерки в пиджаках и галстуках, но эти больше днем, в обеденное время; захаживает студенческая молодежь, причем ведет себя на удивление смирно, запивая огненные хинкали пепси-колой; случаются средних лет пары, причем, подозреваю, в большинстве случаев супружеские или по крайней мере с солидным любовным стажем, решившие поужинать вне дома; но больше всего, как ни странно, здесь бывает небогатых иностранцев обоего пола, похожих на западных славистов-стажеров. Громких кавказских компаний не слышно — если и идет грузинский пир, то, как правило, в отдельном кабинете.

Мы с Сандро — под этим именем его знают и в этом духане — уж ходим в завсегдатаях, и грудастая широкобедрая абхазка Нана в черных чулках, едва заведет нас, сразу же несет боржомом и холодную водку, а там тащит всякой закуски по порции: сациви, лобио зеленое и красное, жареные баклажаны с чесноком, пхали, капусту по-гурийски, зелень, сулугуни, лаваш и раскаленные хачапури и ачму. Поразительно, но и здесь Сандро ухитряется встречать знакомых: то какую-то пожилую немку, то благообразную пару под шестьдесят, то грузина вполне бандитского вида, оказывающегося на поверку аджарским драматургом. И всем он меня неизменно представляет, и мы обмениваемся визитками и с немкой, и с супружеской парой, и даже с аджарцем — неизвестно на кой черт.

Здесь мы никогда не спешим, никуда не торопимся. Мы вспоминаем молодость, общих знакомых, говорим о судьбах российской словесности, а ближе к десерту — о женщинах, причем Сандро наперечет знает всех бывших и нынешних светских львиц и столичных куртизанок. Но бо́льшая часть времени этих мужских застолий на круг оказывается так или иначе посвящена Газете, как ни стремимся мы соблюсти негласный сговор и не говорить о ней к ночи.

Но Газета нас не отпускает, и мы всегда неумолимо сползаем к ней. Газета незримо держит нас за горло: что поделать — кормилица. Ведь и расплачиваемся мы за этот пышный стол, за шашлыки и долму, за водку и «Енисели» к кофе деньгами, что выдали нам в отечественной валюте в бухгалтерии Газеты согласно ведомости под расписку и в долларах в конвертах, которые раз в месяц извлекает из сейфа в своем кабинете Иннокентий, — черным налогом, — и о содержимом этого сейфа не должна знать налоговая инспекция.

5

— В Газете не бывает напечатано ни одной неоплаченной строки, — говорит Сандро.

Я его не совсем понимаю.

— Всё — джинса.

Я уже догадываюсь — о чем он, но сомневаюсь в его словах.

— Это невозможно, — говорю я, — нельзя же купить, скажем, биржевые сводки.

— Запросто, — говорит Сандро, наливая. — Предположим, некий брокер хочет продать алюминий. Или асбест. Что тебе больше нравится?.. — Я пожимаю плечами. — Что он делает, прежде чем объявить на торгах свою цену? — продолжает Сандро, подвигая ко мне сациви. — Он звонит своему знакомому в Газету и просит его указать в сводке такую-то сумму. И на другой день с Газетой в руках разговаривает с клиентами. Все просто.

— Но... — Я, признаться, поражен. Одно дело, когда заинтересованными лицами оплачиваются заметки в рубриках «Модный магазин» или «Ресторанная критика» — оплачиваются, разумеется, нелегально, деньги дают корреспонденту из рук в руки, и, как говорит Сандро, в отделах заведующие собирают с подчиненных дань. Но сводки котировок на бирже — это все-таки нечто иное, это документ, и здесь легче легкого обнаружить подтасовку...

— Как раз в биржевых сводках очень трудно поймать кого-нибудь за руку. Да и кто будет ловить? В конце концов это всем выгодно. Кроме покупателей, конечно, но в конце концов их никто не заставляет так слепо верить печатному слову.

— Хорошо, — говорю я, — но объясни мне, как можно брать взятки, работая в отделе уголовной хроники или, скажем, ведя рубрику «Спорт»?

— Очень хлебные разделы, — говорит Сандро, сладко жмурясь. — Возьмем «уголовку». Заметь, от того, как расставлены акценты в статье о том или ином деле, подчас зависят и настрой следствия, и решение суда. Но вот тебе самый свежий и убойный пример. Некий юно-

ша, студент престижного вуза и сын крупной шишки в кремлевской администрации...

— Я, кажется, читал об этом.

— Вот-вот. Этот самый сынок шел через парк и ударил ножом десятиклассника, который попросил у него закурить. И убил его, в порядке, так сказать, самообороны. Десятиклассник был в компании, которая отмечала на лавочке начало весенних каникул. И все как один его одноклассники показали, что их товарищ вовсе не напал на студента, а только окликнул его: мол, сигаретки не будет? И, когда тот остановился и полез в карман, подбежал к нему, ожидая получить сигарету. А получил нож в брюхо. А что об этом было написано в Газете?

— Там история выглядела иначе, — припомнил я. — Кажется, речь шла о том, что на этого самого студента напали хулиганы.

— Это еще не все. По факту убийства было, разумеется, заведено дело. На студента. Но в Газете было написано, что студент как раз признан органами дознания пострадавшим, а обвиняется убитый.

— Так бывает? — спросил я.

— Если папа заплатил, то бывает. — Казалось, Сандро нравилось выступать в роли прожженного и всезнающего циника. — А с Газеты какой спрос: корреспондент перепутал.

— Но Иннокентий! — вскричал я. — Иннокентий-то не берет!

— Во-первых, этого мы не знаем, — философски парировал Сандро и макнул кусок лаваша в соус от сациви. Потом любовно обернул этот кусок укропом, пет-

рушкой, кинзой и отправил в рот. — Впрочем, ему и не нужно брать. Здесь дело чуть тоньше. Он и его команда, если ты заметил, обслуживают определенный круг «своих» композиторов и музыкантов. И ругают всех остальных. Или просто игнорируют, что есть та же брань. Объясняют они это, конечно, эстетическими пристрастиями. Но ведь они осуществляют неприкрытое лоббирование определенной группы. И перекрывают кислород «чужим». И вот представь себе: разворачивает какой-нибудь олигарх Газету теплым деньком на веранде своей виллы в Барвихе. Он давно заработал, и ему хочется быть культурным. Конечно, он не понимает музыковедческого бреда, что несет какая-нибудь Настя Мёд, но сечет, что такой-то и такой-то в мире музыки — фигуры престижные и первого ряда. Если из недели в неделю ему это повторять, а потом прийти и попросить спонсировать какой-нибудь фестиваль, то — чем черт не шутит — он, глядишь, и раскошелится. А музыкант, в свою очередь, при случае замолвит кому надо слово за свою медовую критикессу, и вот она уже аккредитована на фестивале в Вене или Дюссельдорфе или читает курс лекций о современной русской авангардной музыке в Сорбонне. Так и вершатся судьбы искусства, а заодно и сотрудников отдела культуры. Тебе бы взять их методы на вооружение, — сказал он неприятным тоном, — отобрать издательства, которые имеет смысл опекать, не обижать авторов, которые могут оказаться полезными... А ты ведь ведешь себя храбро, ничего-то не боишься, режешь правду-матку, пока умные люди пользуются своим положением и пьют чистую водичку, коли довелось сидеть у ручья...

— Дорогой мой, — сказал я как можно скептически, — не по летам уж льстить и подстраиваться. И, кроме того, я все-таки не критик, я лишь свой писательский взгляд окрест бросаю...

— Ну-ну! — Сандро улыбнулся всеми своими белыми крупными зубами. И я вдруг подумал: свои ли у него зубы? Или это столь искусно сделанная металло-керамика? Он же тем временем, наполнив рюмки, продолжал мое образование: — Тут на Иннокентия работала одна начинающая музыковедша-стажерка. Очень хотелось ей зацепиться в Газете, так что она вовсю старалась. Но — молодой гонор, обо всем, конечно, собственное мнение. И угораздило ее попасть на концерт Макара, сожителя Асановой, он и концертов-то в России почти не дает. И вот эта девица со всей бескомпромиссностью юного темперамента решила развенчать, как ей казалось, чрезмерно и несправедливо раздутую репутацию маэстро. Мол, холодноват, механистичен, вдохновение подменяет умением нравиться публике... Конечно, статейка была перехвачена в отделе рирайта и тут же отправлена в корзину. Иннокентия вызвали на четвертый этаж и, кажется, устроили головомойку. А девочка вылетела из редакции на следующий же день, так и не закончила свою стажировку: Асановой лучше не становиться поперек дороги.

Я любовался этими картинками нравов, которые так сладко и смачно живописал Сандро. Я не слишком-то доверял ему, полагая, что ради искусства красноречия он сгущает краски. И, конечно же, не стал интересоваться, берет ли он сам деньги с тех, о ком пишет в этой самой своей светской хронике. Он прочитал мою мысль.

— Ты не обращал внимания, как нежна со мной та же Вероника?

Я, конечно, обращал и даже втайне завидовал Сандро, что на него, почти моего ровесника, до сих пор льстятся молоденькие девушки.

— Нет-нет,— сказал Сандро,— это отнюдь не бескорыстная симпатия. Она всякий раз просит меня вставить в мою хронику хоть пару строк об открытии нового бутика или о празднике в каком-нибудь ночном клубе. Умоляет: Коленька, хоть пару строк! И отчего-то воображает, будто я не понимаю: за эти несколько строк она уже получила с бутика или от клуба две-три сотни зеленых.

— И ты ей ничего не говоришь?

— У молодых девушек обычно небольшие оклады. Но значительные расходы,— отвечив Сандро. О своих заработках этого рода он, естественно, не проронил ни слова.

Глава V

ГРАФ САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР

1

— По вашу душу, — произнесла Вероника, иронически подхихикнув, и протянула мне телефонную трубку.

Надо сказать, это было принято в отделе: сидишь за своим монитором, телефон дребезжит, не уставая, то зовут одного, то зовут другого, то вдруг какая-нибудь

неизвестная девица начинает пространно объяснять, что их галерея, или студия, или ночной клуб, или дом культуры были бы рады пригласить представителя Газеты на вернисаж, или на показ мод, или на концерт. «Роже, это тебя», — говоришь ты злорадно и суешь тому трубку — пусть разбирается, коли это по его концертной части. Хотя ты вполне мог бы и сам послать девицу к чертовой бабушке. Роже прижимает трубку ухом к плечу, не отрываясь от монитора и продолжая молотить по клавишам, а расчухав, в чем дело, что-то отвечает гневно, бросает трубку и грозит тебе кулаком. Такие милые цеховые шутки. Так что по интонации Вероники я уже понял, что она приготовила мне подвох.

Но то, что я услышал, было вовсе несусветно. Женский голос с кавказским акцентом произнес:

— Баку говорит. Нефтяная компания «ЧурбаЪн-ЧуркаЪ», — так это приблизительно прозвучало. — Соединяю вас с господином Турсун-Заде.

И тут же возник в трубке шершавого звука бас, заговоривший на таком чудовищном русском, что продраться к смыслу было затруднительно. Отчетливы были лишь повелительные интонации.

— У вас какой адрес? — так можно было понять первый вопрос.

— У меня? — подивился я.

— У вас, — подтвердил он. — У вашей редакции.

— Ах, редакции! — вздохнул я с облегчением. — Наш адрес на последней полосе газеты. Внизу. Меленько.

Бас помолчал.

— Через полчаса к вам приедет наш человек. Черный «мерседес пятьсот». Встретьте его. Вам все объяснят.

И бас повесил трубку.

Я было стал озираться, ища поделиться с кем-нибудь из коллег столь забавным недоразумением, как заметил, что рядом со мной стоит Иннокентий.

— Теперь уж старайтесь, Кирилл, — молвил он, двусмысленно ухмыляясь.

Как он узнал — даже при том, что в Газете специальные люди прослушивали все редакционные телефонные разговоры, — как он узнал с такой скоростью о содержании этого странного разговора? Вероника! — сообразил я.

Через полчаса я стоял у подъезда редакции, чувствуя себя дурак дураком. ЧурбаЪн-чуркаЪ, если потюркски. Лишь чувство приличия заставило меня выйти: неудобно, все-таки человек едет ко мне из самого Баку на «мерседесе», а я поведу себя невежливо и не выйду к нему навстречу. Кроме того, что скрывать, я был заинтригован.

Черный «мерседес» подъехал минута в минуту. Из задней двери не без грации выполз лощеный господин усредненно южной наружности, в шелковом с блестками костюме сицилийского сутенера и обернулся ко мне. Он был спортивен на вид, хоть и сед на висках. Он кивнул, и шофер вынес на вытянутых руках высокую тяжелую стопу книг с золотым обрезом, формата и внушительности Брокгауза и Эфрона. Учтиво улыбаясь, господин знаком повелел шоферу передать стопу мне. Я машинально принял этот груз на руки.

— Граф Салиас де Турнемир, — сказал гость светски и почти без акцента.

Наверное, я уже допился до белой горячки, о какой опасности в последнее время регулярно предупреждала меня жена. Хоть я и надеялся, что она преувеличивает.

«Виконт де Бражелон», — хотел было представиться я в ответ.

— Здесь, — положил он холеную смуглую руку с белыми ногтями и огромным золотым перстнем на указательном пальце на стопу книг, из-за которой я его едва видел, — два экземпляра полного собрания сочинений графа Салиаса. Один — в подарок лично вам. Другой для работы. — И тут в голосе его послышались ноты почтительного страха. — Господин Турсун-Заде хотел бы, чтобы выход в свет этого издания нашел отклик на страницах Газеты. Он надеется. — И посланник глянул на меня значительно.

Едва уловимо наклонив голову, он развернулся, сел на заднее сиденье «мерседеса», и шофер мягко тронул с места. Я остался стоять посреди улицы с этим самым Салиасом на руках, и мне почудилось, что из окон третьего этажа смотрят на меня ухмыляющиеся лица коллег.

2

Все тут было загадочно.

Какое отношение нефтяная компания имеет к графу Салиасу де Турнемиру? И отчего такой издательский шик: в последний раз полное сочинение этого «русского

Дюма», как льстиво называла его прижизненная критика, выходило — я навел справки — до революции. Может быть, дедушка господина Заде был побочным сыном сочинителя-графа? Или интрига еще тоньше: скажем, секретарша господина Турсуна обожает арабские сказки и исторические романы из времен Екатерины? И пересказывает их шефу на ночь, как Шахрезада?

Но как бы то ни было — при чем здесь я? И на что, собственно, этот самый Заде «надеется»? По-видимому, я должен отрецензировать издание. Что ж, в конце концов где Беляев — там и Салиас, и я вполне могу написать об этом несусветном собрании, оповестив о его появлении в свет нашу элиту бизнеса, финансов и политики, хотя, конечно, ей, элите, это — по хрену рубашка, как говорили в моей молодости в нашем студенческом кругу...

— Проси больше, — сказал Сандро, когда я в четверг поделился с ним этой историей. Сказал, явно потешаясь.

— Больше чего? — спросил я.

— Денег, Кирюха, — сказал Сандро, — денег. И перестань наконец строить из себя непуганого идиота.

— Но я не беру денег, — пробормотал я, чувствуя, однако, какое-то странное сосание под ложечкой.

Со мною произошло невероятное: я впервые в жизни неожиданно для самого себя испытал приступ алчности. Да-да, я почувствовал, что нечаянно вступил в чертоги Али-Бабы. И мне предлагают много золота. Это было мучительное чувство, грозящее раздвоением личности. С одной стороны, я понимал, что, если получу эту взятку — взятку, конечно, как иначе это назвать: поощ-

рение, гонорар, подарок, благодарность? — я никогда в оставшейся жизни не смогу сказать, что не брал.

Какой тяжкий труд, оказывается, нести бремя соблюдения заповедей твоих, Господи! И, скажем, не красть. Ведь я, взяв деньги с этого самого Заде, именно что украду. Украду у того же Иннокентия, скажем, потому что фактически использую его доверие. У жены, которой я никогда не смогу признаться в том, что совершил...

Но с другой, с другой стороны: все так поступают, если, конечно, верить Сандро и собственным глазам. Как там цинично он приговаривает: «Сидеть у ручья да не напиться?» Не надо драматизировать, take it easy, это всего лишь презент, награда за хорошо сделанную работу.

Дурак, говорил я себе, в твоём возрасте столь легкие задачи взрослый человек должен бы давно для себя решить. Брать или не брать — это все-таки не «быть или не быть». Но в том-то и дело, что до сих пор подобная дилемма никогда передо мной не вставала: мне попросту никто никогда ничего не предлагал «взять»... Видно, я еще не достиг необходимой степени просветления, когда мудрец без раздумий отличает добро от зла...

Обо всем этом я суетливо размышлял, читая по диагонали невероятно скучные романы «русского Дюма», плохо выстроенные и дурно писанные. И именно в тот момент, когда я занес руку над клавишами, чтобы отстучать выходные данные этого издания и приступить к рецензии, — вот именно тогда мне бы раскурить трубку, выпить глоток «Джек Даниэл» и послать к черту это-

го самого Заде вместе с графом де Турнемиром. Но рука опустилась на клавиши, и рецензия пролилась, как фривольная песенка. А уж что написано пером...

Рецензия на новое полное собрание сочинений графа Салиаса де Турнемира — рецензия пера литератора Кирилла К.— появилась на страницах Газеты уже через три дня после получения литературным обозревателем этого самого собрания.

3

Через день после выхода рецензии та же Вероника с видом загадочным вручила мне маленький с кокетливым вензелем конверт. Уж не гонорар ли это от Заде, подумал я, ужасаясь, что вручили мне его прямо в редакции, и сомневаясь, надо ли брать конверт в руки, оставляя на нем отпечатки пальцев.

— Что вы удивляетесь-то? — сказала Вероника.— Вас приглашают...

По вскрытии в конверте действительно обнаружилось приглашение с виньетками, довольно высокопарно на мой вкус, в светском стиле, составленное. Меня просили прибыть тогда-то по такому-то адресу по случаю дня

рождения Иннокентия: мол, такая-то и такой-то будут искренне рады видеть вас...

Должен сказать, что с Иннокентием к тому времени отношения у меня стали уже самые формальные. Собственно, мы и не разговаривали вовсе: я избегал обращаться к нему с какими-либо вопросами и никогда не заходил в его кабинет. Он же, что бывало очень редко,

сам подходил ко мне, если у него были какие-либо указания . То есть «просьбы», как он неизменно выражался,— впрочем, он любил разгуливать в проходе между мониторами, наклоняясь то к одной, то к другой своей культурологине, — разгуливать с видом совершенно павлиньим. Так что приглашение это не могло меня не удивить . Правда, я решил, что оно носит дежурный характер. Что и подтвердилось, когда я с каким-то альбомом в качестве подарка и с бутылкой коньяка явился, чуть опоздав, по назначенному адресу: культурологини как одна — плюс Роже, конечно, — были в сборе.

Встретила меня хозяйка дома — на удивление славная, чистотой лица и приветливой серьезностью напомнившая мне мою жену. Я даже подивился, насколько приятной женщиной оказалась Иннокентиева супруга. Она была, разумеется, музыкантшей, что-то из духовой секции, мне хотелось бы, чтобы это оказались свирель или флейта, но выяснилось, что играет она на гобое... Хозяин поставил принесенный мною коньяк на широкий, уставленный разнообразными бутылками стол и спросил с приторной светскостью: виски, коньяка, джина-тоника?.. Я согласился на виски, мысленно ругая себя за свой нелепый жест: зачем я приперся с собственной бутылкой? Тут же оказались и два швейцарца; Иннокентий представил нас, при этом сказав мне: вы можете общаться на французском, английском, итальянском... Мысленно послав его к чертовой бабушке, я на своем ломаном английском объяснил гражданам альпийской республики, сколь хорош наш хозяин в качестве шефа. На этом запас моей светскости и лин-

гвистических познаний был исчерпан, и, боюсь, швейцарцам я не показался слишком любезным.

Это был фуршет по-европейски. Совершенным европейцем выглядел Роже, обычно ходивший вахлак вахлаком, но на сей раз прибывший в бабочке, хоть и без смокинга. В каком-то ослепительном платье, обтягивавшем ее убедительные формы, была Настя Мёд. Чуть отставала от нее в поползновениях на галантность Галя Свиноаренко, впрочем, она и всегда бывала чуть неуклюжа. Порхала Вероника на обтянутых серой лайкрой худых длинных ляжках — именно на них, потому что только ляжки и бросались в глаза. Было и еще несколько дам, работавших в отделе: милая улыбчивая грузинка, очень худая, высокая и горбоносая, писавшая о балете; а также сорокалетняя девушка по имени Лера Каримова, телевед, если можно так сказать, отличавшаяся удивительной стройности фигурой и ногами — по видимому, так хорошо сохранившимися именно в силу ее стародевичества, — обычно ходившая по коридорам Газеты в немислимо коротких для ее возраста юбках, с разведенными чуть в сторону руками и ладонями, выгнутыми вовне крылышками, как бы изображая Дюймовочку, — при том, что лицом она явно не вышла. Мне было жаль, но Сандро отсутствовал, хотя ему-то здесь, среди альпийцев и олимпийцев, было самое место.

Впрочем, лиц мужского пола, не считая, конечно, безвредных швейцарцев, Роже и меня, не наблюдалось: Иннокентий, как я начал давно догадываться, втайне не переносил мужчин, тем более красавцев, и Сандро выручало, что его рубрика находилась в ведении отдела культуры лишь номинально. Как заметил бы

по этому поводу записной юнгианец, Иннокентий сопротивлялся идентификации со своей анимой... Несколько позже, извинившись занятостью по номеру, прибыл Эдуард Цедрин, и это, конечно, был жест в сторону Иннокентия — в Газете очень серьезно блюли субординацию. Цедрин выдал общий поклон, а потом подходил то к одному, то к другому из гостей и наконец добрался до меня. У него была милая манера: если он собирался сказать приятное — впрочем, неприятного он никогда и не говорил, — как бы грозить вам пальчиком. Вот и теперь, погрозив мне, он, чуть наклонив голову и как бы заглядывая сбоку из-под пенсне, сказал:

— Читал вас в прошлом номере, Кирилл. Очень хорошая работа. — Интонация его была такой, будто сейчас он прибавит «батенька», как Ленин из анекдотов.

Речь шла как раз о моей рецензии на Салиаса, сдобренной рассуждениями о массовой литературе рубежа веков. Рецензия была самая проходная, полторы мысли, не мог же я травить Али-Бабу интеллектуальными изысками а-ля Настя Мёд, так что оценка Цедрина была лишь формальным комплиментом. Забавно было только то, что он, как всегда, и эту пустяковую заметку назвал «работой». Впрочем, наша юная речь почти не различает оттенки омонимов. Во-первых, «работа» — это труд вообще: «надо работать». Затем «работа» — это оценка труда, не разделяющая процесс производства и конечный результат: так говорят, скажем, крестьяне о поставленной избе или сложенной печи — «ладная работа». На советском волапюке слово «работа» приобрело еще и значение «служба», а в лагерном варианте возникло и множественное число — «выводить на

работы». Можно сказать «работа», имея в виду конечный продукт: так говорят, скажем, о картине на выставке или о научной статье. Цедрин, кажется, употреблял это слово именно в последнем его значении — «работа» в смысле статья, рецензия, газетный материал. Это был высокий стиль, и такое словоупотребление косвенно сигнализировало о том, как высоко он ставит журналистский труд, придавая вообще говоря крайне незначительному тексту — двум сотням строк, написанным в один присест по «информационному поводу» — статус творческого свершения. То есть и он был солидарен с культурологами: они ведь тоже были убеждены в ценности своих газетных работ, хотя, быть может, это было защитное. Они и меня, беллетриста, чернорабочего культуры, пытались приобщить к ордену посвященных, но после того как выяснилось, сколь я безнадежен, спнули без сожаления за борт. Вот от Сандро с самого начала не ждали ничего. Он был своего рода ассенизатор, делающий черную работу (в первом значении), которую и делать-то надо лишь как дань тупому и неповоротливому миру: ну как приходится же печатать в Газете гороскопы, прогноз погоды и программу телевидения, уступая слабостям человеческим...

Я мог сколь угодно долго предаваться такого рода умствованиям, посасывая виски, поскольку мероприятие — слово, кстати, вполне загадочное, но в данном случае, как будет видно дальше, вполне подходящее — было чопорным, натянутым и откровенно скучным. Впрочем, прошло часа полтора, и я отметил, что даже один из швейцарцев, как это ни смешно, прилично наклюкался. Позже, когда Сандро вывел меня как-то на

прием, я заметил, что и самые статусные кормленые иностранцы бросаются к фуршетному столу даже проворнее, чем наши соотечественники, должно быть, думал я, в силу отсутствия комплексов и возможности вести себя, как Бог на душу положит, раз они — в России. Они, как саранча, опустошали столы, и Сандро со свойственной ему цинической прямоотой утверждал, что на халяву с одинаковым энтузиазмом жрут и бомж с Казанского вокзала, и вашингтонский сенатор...

Выпив, люди Иннокентия, что называется, стали раскрываться с другой стороны. Скажем, мать семейства Свиначенко оказалась не промах поддаться. Дюймовочка Лера вдруг заговорила без остановки, причем сразу со всеми. Роже бегло болтал на французском, не отступая ни на шаг от иностранных гостей. В довершение всего Настя Мёд запела а капелла русские романсы голосом силы, по крайней мере, Галины Вишневской — у нее вдруг обнаружилось драматическое сопрано, и стало ясно, что она в юности ошиблась факультетом консерватории.

4

Стоит ли говорить, что я опять напился. Мне стало внятно дольней лозы прозябанье. Видя этих людей в неформальной обстановке, я вдруг решил, что они — не интеллигенты. Это показалось мне в тогдашнем моем состоянии величайшей высоты и тонкости открытием. Они предатели, мнилось мне, предатели своего класса. (Самое забавное, что в некотором смысле я и сейчас, в окончательном моем положении, думаю то же.) Они

предали русскую интеллигенцию со всей ее сектантской нетерпимостью, но и с высокими прозрениями, способностью к самопожертвованию и неумением понять и принять других, непрактичностью в деньгах и делах, но и умением работать, со всей ее прелестью и истерикой, — променяли на мелкобуржуазную толерантность и конформность. Они пыжились казаться интеллектуалами западной европейской складки — вот кем они пыжились быть. Однако сказано: будь холоден или горяч — твердил я про себя, лакируя виски текилой, — но не тёпл. Они променяли свое призвание к воспаленному русскому служению и странничеству на общеевропейскую тусклую культурность, говорил я себе, говорил, совсем как Достоевский...

Когда человек осознает нечаянно, что он оказался вне своего класса и круга, перед ним встает выбор: он или тушуетя и подстраивается, или становится культурным героем. Коктейль мексиканской текилы с шотландским виски, безусловно, подталкивает ко второму. И я преисполнился решимости рассказать грузинке, которая мне давно приглянулась, о своем открытии.

Кажется, я пересказывал ей содержание сборника «Вехи». Говорил о вечном споре западников и славянофилов. Причем она с неподражаемой иронической мягкостью осведомилась, к какому лагерю отношу я сам себя. Пришлось объяснить, что взгляды человека меняются, в зависимости от поворотов Истории. Что я всегда считал себя либералом и придерживался ценностей космополитических. Но сейчас, видя, что творится вокруг — и тут, кажется, я повел рукой окрест, — я все больше ощущаю себя консерватором. Да что там Исто-

рии, вещал я, за один день человек может из правого сделаться левым и обратно. Слава Богу, Бога нет, слава Богу, есть пять, процитировал я незабвенного Женю Харитонову. Это удивляет меня самого. Но в одном я убежден: идет тотальное наступление на исконный интеллигентский образ жизни и склад мысли. На мою личную систему ценностей, если угодно. И я не могу не противиться этому...

— Но вы не коммунист? — опасливо осведомилась она.

— Что вы! — с жаром и вполне серьезно запротестовал я, не чувствуя в ее словах насмешки.

— Вы такой... ностальгический, — заметила грузинка, пряча улыбку за фужером шампанского, который поднесла к губам.

— Нет-нет, это не ностальгия, хоть и верно сказал поэт: что прошло, то будет мило...

Тут я выпил еще текилы и совсем зарпортовался. Я повествовал о примате духа, мерзостях рынка и тупиках либерализма. Когда окончательно запутался, то, чтобы выйти из положения, я предложил ей руку и сердце. При этом я честно сообщил ей, что женат вот уже без малого двадцать лет, но заверил, что это не имеет никакого значения. Она смотрела на меня, как мне казалось, с живым интересом. Быть может, она думала о том, какие метаморфозы может творить с человеком алкоголь. Она ведь знала меня вот уже почти год — пусть шапочно — как мрачноватого бородатого тучного близорукого господина лет на пятнадцать старше ее, ваяющего какие-то тексты из такой далекой от балета области, как отечественная словесность... Истолковав

ее изучающий взгляд в свою пользу, я устремился с жаром целовать ее руки, которые от меня деликатно убирала. Потом, кажется, я пустил одинокую слезу. Наверное, от острого и пронзительного понимания, что после долгой моей неприкаянной жизни нашел-таки наконец свое счастье в виде лица грузинской национальности женского пола, понимающего меня лучше меня самого. «Счастье мое, нам будет так хорошо и спокойно вместе», — шептал я. А может быть, мне лишь казалось, что я разговариваю шепотом...

Как я добрался до дому — помню смутно. Знаю лишь, что, когда проснулся одетым на кушетке в своем кабинете, не получил в постель ни ритуальных утренних поцелуев жены и дочери, ни положенной чашки крепкого кофе эспрессо.

5

— Он меня уволил, — сказал я, когда нам принесли водку и боржом и мы выпили по первой. Боюсь, как я ни старался, это прозвучало драматически. — Вчистую. Что называется — без выходного пособия.

— Все по порядку, — попросил Сандро.

Я попытался рассказать все по порядку. Буквально через два дня после этого самого дня рождения Иннокентий позвал меня к себе в кабинет и сказал без обиняков:

— Кирилл, кажется, мы с вами не сработаемся.

На сей раз он не дергал кадыком, не краснел и не опускал глаз. Держался он очень уверенно, с начальственной наглостью. Быть может, для него был че-

ресчур велик авторитет отца, подумал я мельком, и теперь он стремился властвовать, потому что прежде слишком много подчинялся. Как-то, помнится, еще в розовый период моего дебюта в Газете, мы сидели в его кабинете. И он обронил в шутку по поводу, кажется, Свиначенко: всегда мечтал командовать взрослыми женщинами. Фраза знаменательная. Впрочем, случившаяся здесь же Настя Мёд быстро отреагировала: это проходит, Кеша. Ой, нет, Настя, не проходит...

— Займитесь теперь вплотную своими субботними «портретами», — сказал он мне вдогонку.

Вот это и было наглостью. «Портреты» были вне его компетенции, и он мог бы удержаться от советов — чем мне впредь заниматься. Быть может, я с детства лелеял мечту собирать в парках и скверах пустую посуду на свежем воздухе. Но самое поразительное, что я испытал облегчение. Истинное, беспримесное облегчение, что, быть может, объяснялось моим эгоизмом, безответственностью и малодушием. Теперь мне не нужно будет исполнять его идиотские указания, а главное — главное, мне не нужно будет являться в эту постылую редакцию чаще, чем раз в месяц. Ведь самостоятельно я не смог бы найти в себе сил что-либо круто изменить. «Прыгнуть в горящую пропасть, чтобы найти там себя», — как выражаются дзен-буддисты. Я почти парил, отгоняя от себя мысль, что терял в зарплате как минимум четыре пятых. Да-да, мой доход в Газете теперь уменьшался почти в пять раз...

— И это всё? — спросил Сандро.

— Всё. Но ты знаешь, у меня будто гора с плеч. Засяду-ка теперь за новую повесть.

И тут Сандро сказал с неприятно-пренебрежительной интонацией:

— Эта твоя коллизия между писательством и журналистикой — чисто русская.

С какой это стати он вдруг опять заделался западником.

— Но я русский писатель, — гордо парировал я. — Кроме того, газетные материалы одноразовы, как презервативы, тогда как литературные произведения предполагают многократное использование...

— Хотя всякий кузнец ненавидит свой молот. — Он притворно расхохотался и стукнул меня по плечу. — Маркс, между прочим.

Я тоже кисло ухмыльнулся. И мы не забыли выпить еще по рюмке.

— М-да. Надо полагать, свою роль сыграл в этом деле граф Салиас. По-видимому, кто-то донес, что ты взял за эту рецензию взятку.

— Во-первых, я ничего не брал, — сказал я, чувствуя, что краснею. Краснею потому, что брать-то не брал, но, кажется, готов был взять. И одна эта готовность заслуживала наказания. — И, кроме того, ты же сам говоришь, что в Газете так принято.

— Срать тоже принято, — сказал Сандро с намеренной простонародной грубостью, которая всегда меня в нем коробила, — но никто этого не делает при всем честном народе. Для этого есть сортир...

И мне на миг показалось, что теперь, когда я падал с коня, он отнюдь не сочувствует мне. Как там у Ницше: падающего еще толкни...

— Впрочем, Салиас лишь предлог, конечно. Здесь есть и что-то другое. — Сандро погрузился в размышления. А потом потребовал, чтобы я изложил ему, что происходило у Иннокентия на дне рождения.

Едва я дошел до грузинки, он громко закричал:

— Ну вот! — И даже хлопнул ладонью по столу. — Вот именно!

— Что? — не понял я. Но испытал столь нехорошее чувство, будто этот и без того постыдный эпизод собираются показать по телевизору.

— Вот результат того, что ты не смотришь по сторонам, сочинитель фигов, и не видишь того, что творится у тебя под носом. Эта самая грузинка — текущая любовница толстожопого. Это знают все в отделе и далеко за его пределами. Поздравляю, ты попал в точку. Засадил в самое очко.

Он будто злорадствовал. Мне стало и вовсе не по себе. Но уже через час, после пол-литра водки, мое настроение пошло на поправку. Тем более что Сандро, благородная все-таки душа, как мог утешал меня. За наше общее с ним здоровье он произнес длинный тост.

— Всё это фигня, — так патетически начал Сандро. — Дело не в деньгах. Ведь сами по себе деньги не растлевают, растлевает способ их зарабатывания. Их этот способ уже растлил. Из людей, в которых теплился огонь познания истины, они превратились в буржуазных интеллектуалов-начетчиков.

— Ты говоришь моими словами, — пробормотал я. А сам подумал: я перестал любить жену, как любил прежде. Я перестал благоговеть перед дивной юностью нашей дочери. Я стал дерьмом. И все это сделали день-

ги Газеты, заработанные несправедливым для меня путем, уводящим прочь от призвания.

Меж тем Сандро продолжал:

— Они встроены в систему, работающую как часы, буржуазную систему добывания, и они винтики в ней. Мы же вольные люди, богемы, цыгане, герои, потому что мы одиноки и сами по себе. Здесь принципиальная разница. Разные социальные и психологические плоскости. В конце концов они представляют массовую культуру. Пусть массовую интеллектуальную культуру, ведь их элитарность — тоже товар. Мы же в любом случае — штучны! Вне зависимости от качества нашего товара, которое, кстати, ничем не измеримо. Все дело в достоинстве и артистизме проживания жизни...

Он долго еще вдохновенно говорил. Но вдруг прервался и спросил:

— А, кстати, этот твой Али-Баба так и не объявился?
— И сам за меня ответил: — Нет, конечно.— И закончил наш ужин таким трюизмом: — Ибо вдыхающему каждый день запах нефти, этого жидкого дерьма земли, чувство благодарности неведомо.

Глава VI

«ЧЕРТ, ВОЗЬМИ!»

1

Этих самых «портретов» я успел наваять штук пять. Был среди героев известный автор предгорных саг, был эмигрант, бытописатель московских, шестидесятых еще

годов, интеллектуальных кружков, превращавших в клуб то курилку в Ленинке, то пятачок у ближайшего пивного тычка. В таком духе. Это были никакие не «портреты», а литературные эссе на заданную тему. Работа, кстати, довольно сладкая и куда ближе сердцу, чем рецензирование Салиаса с Беляевым. И все бы хорошо, когда б не Асанова, некогда меня на эту деятельность и подвигнувшая.

Пока я продолжал трудиться в отделе Иннокентия, первые три-четыре сочинения этого рода она напечатала, что называется, с колес. Но едва я был изгнан из среды культурологов, начались проблемы. Прежде прочего радикальным образом изменился ее тон в обращении со мной. Она уже не подбострастничала и не заигрывала, но говорила довольно жестко, порой даже раздраженно. Свои игры «в девочку» она теперь адресовала другим, скажем, недавно снятому очередному главному редактору Газеты, который отчего-то продолжал неизменно являться к десяти на работу и с таинственными целями весь день околачивался в ее кабинете или поблизости. Занятно, что он сидел и ждал ее и тогда, когда ее не было.

А не бывало ее теперь постоянно. Приходилось и мне часами ждать. Иногда к нам присоединялся шофер Асановой, ибо теперь, передав руление рирайтом другой даме и «редактируя субботу», она располагала индивидуальной машиной с водителем. Этот самый шофер был бессловесным малым, смиренно выслушивавшим ее указания, и, как можно было понять, возил на дачу ее детей, с дачи ее маму, хотя был, как совершенно случайно выяснилось, кандидатом физико-

математических наук. И коли шофер был здесь, то и она, очевидно, шастала где-то по начальству на верхних этажах или пила кофе в баре, беседуя, что могло длиться часами.

Валандаясь без дела по редакции Газеты, я заглядывал с часовыми промежутками в ее кабинет и неизменно заставал под креслом подошвами врастопырку штиблеты смещенного главного редактора — штиблеты баксов так за девятьсот, его согбенную, будто в тяжком раздумье, спину, обтянутую пиджаком, тянущим долларов эдак на тысячу двести, его лысину, обрамленную жестким черным волосом, не тронутым сединой,— отчего бы ему было сесть; а за его плечом мерцал экран монитора, в который он не отрываясь тупо глядел. На экране красовалась одна и та же картинка, скажем, «меню» очередного субботнего номера, и что этот дурень на ней разглядывал часами — неведомо.

Поначалу я грешным делом решил, что у него с Асановой односторонний и страстный роман. Однако потом сообразил, что они, видно, вместе что-то «варят», вступив в сговор, но смысл интриги мне был, разумеется, недоступен, против кого и за что они дружили, со стороны было никак не понять. Но это было так: Асанова, мощно всплывая все вверх и вверх, наступала то на одну спину, то на другую голову, и эти свои интриги называла неизменно «проектами»: одним из них — удачным, как видим — и был «субботний».

Ну да это черт бы с ним, оставь она меня в покое. Но неожиданно изменились «условия контракта», причём в сторону для меня наименее приятную.

«Портрет» всегда планировался на последнюю субботу месяца. Но Асанова вдруг выдвинула требование, чтобы я предоставлял ей готовый материал уже на исходе второй недели. Потом начиналось самое изнурительное: все последующие дни проходили в нудных и сумбурных с ней спорах по поводу тех или иных моих оценок. Ее все время отвлекали, она выбегала, мы начинали сначала, потом звонил телефон, и она опять забывала, о чем речь. Так продолжалось до поздней ночи, она, кстати, никуда не торопилась, пока я наконец не выдерживал и просил перенести собеседование на завтра... Насчет какого ни возьми отечественного автора у нее было свое особое литературоведческое мнение. Она, конечно, с ужимками играя в скромность, приседала в реверансах и уверяла, что она лишь частное лицо, читательница и профан, но это, разумеется, лишь по привычке к кокетству. Мягко стеля, она бывала совершенно безапелляционна.

Чаще всего она порола откровенную чушь. Но иногда вдруг высказывала мнение, хоть и явственно дилетантское, но не общее, не лишенное оттенка неожиданности, что при уровне ее информированности в вопросах словесности и при полном отсутствии какого-либо литературного навыка было довольно удивительно. Я долго бился над тем, что сей сон означает, пока однажды не подслушал случайно, находясь у нее в кабинете, ее телефонный разговор с гражданским мужем. Меня она совершенно не стеснялась — как обслугу. И вот среди любовных междометий и указаний, что ему кушать и как пи́сать, она вдруг смиренно сказала: «Ты так думаешь?.. Да-да, я обязательно это прочту! Хоро-

шо, Макарушка...» И вдруг поймала мой внимательный взгляд и на секунду, буквально на мгновение, запнулась.

Значит, Макарушка. Это он был мозговым центром их семьи. А когда в одном из субботних номеров я обнаружил его пространную статью о Дебюсси, написанную с потугами на нежданность стиля и небуквальность соображений, мне все стало ясно: Макарушка, даром что музыкант, был графоманом. А поскольку, как всякий универсальный гений, он, по-видимому, был домашний тиран и всякой бочке затычка, то и до меня долетали заряды его литературных пристрастий и мнений. А то, что я смел чаще всего с ними не соглашаться, Асанову, как я, увы, не сразу понял, крайне раздражало. Причем до такой степени, что ей, кажется, рано или поздно стали противны один мой вид и звук моего голоса, которые повергали ее в дрожь и нервическое курение «Кэмэла» одну сигарету за другой.

Я вспомнил рассказ Сандро о несчастной стажерке, Асановой изгнанной. Выходило, что в некотором смысле я оказался в положении этой девчушки, и теперь уже от меня Асанова защищала Макарушку своей маленькой грудью.

Мало-помалу и она стала меня выводить из себя. Почему я, сочинитель с некоторым стажем, сам себе голова, должен был выслушивать что ни день ее ахинею, транслирующую к тому же сивый бред неведомого мне дирижера Макарушки? А потом, страдая, как от сверления зуба, присутствовать при том, что она правит мой текст своей изящной, но, увы, абсолютно не приспособленной к литературному делу ручкой... К тому ж оказа-

лось, что свободного времени у меня как не было, так и нет. Опять я должен был чуть не ежедневно таскаться на «Водный стадион» — киселя хлебать. И, заметьте, за сумму-то мизерную по сравнению с моим былым жалованьем...

Теперь, когда Асанова «вела субботу», рубрика Сандро тоже оказалась в ее ведении. Но с ним-то как раз Асанова жила душа в душу. Сандро по этому поводу обронил как-то:

— Я не такой болван, чтобы с ней спорить. Хотя бы потому, что, когда с ней соглашаешься, из нее можно веревки вить.

Он откровенно валял с ней ваньку, прикидываясь донельзя простодушным рубахой-парнем. Эта швейкова тактика приносила плоды — действительно, в своей светской хронике ему чаще всего не приходилось менять ни слова. Кто знает, ей, на дух не переносившей женщин, подобно тому как Иннокентий не терпел мужчин,— с Настей Мёд, скажем, по четвергам она вела долгие и тяжкие позиционные бои,— Сандро в отличие от меня представлялся, должно быть, образцом мужественности, бесхитростно высеченным из одного твердого куска. Доходило до того, что я делал поползновение подключить Сандро к нашим с Асановой бесконечным и бесплодным дискуссиям в качестве арбитра. Но из этого ничего не вышло: Сандро не то чтобы отказался прямо, но, как человек, у которого просят денег в долг, делал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Короче, было ясно, что и на этом поприще в Газете совсем скоро моя песенка будет спета. Этому помогло, кажется, и еще одно неожиданное обстоятельство.

В какой-то момент показалось, что мне пофартило: мне предложили в Газете новую непыльную, хоть и с душком, работенку, пусть временную, но с превосходным гонораром. Дело в том, что приближались Выборы. И — здесь, по-видимому, не обошлось без крупных вливаний какого-нибудь заинтересованного в проигрыше коммунистов банка, а то и группы банков — внутри Газеты силами ее сотрудников готовились приступить к экстренному выпуску агитационной газетки под довольно странным названием «Черт, возьми!». Черт должен был взять коммунистов, имелось в виду. И у начальства родилась несчастная идея привлечь к этому делу Писателя. И, чтоб далеко не ходить, выбор пал на меня.

Задача передо мной была поставлена такая: я должен был сочинять «письма простых читателей», якобы пришедшие в редакцию Газеты, в которых они с ужасом и отвращением говорят о возможном коммунистическом реванше. Моральный аспект задания меня поначалу не слишком смутил. Я вспомнил, как в свою далекую бытность в «Юном природоведе» тоже сочинял «читательские письма» — исключительно из-за гонорара. Это было удобно вот в каком отношении: я писал заметку на произвольную биологическую тему, скажем, о размножении первичнополостных червей или о наскальных художествах зинджантропов, а мотивом ее появления в журнале становился мнимый вопрос мнимого читателя Петра Сидорова из села Колобовки Вологодской области... Настораживало другое: никакие

«простые читатели» никогда никаких писем в Газету не писали. Разъяренный бизнесмен, правда, мог изредка апеллировать к редакции с протестом против воспева- ния конкурента за его счет, но, как правило, по телефо- ну и через своего пресс-секретаря... Ну да начальству виднее. И я в один присест накатал несколько «писем». Самым жалостливым, кажется, вышло слезное послан- ие некой вдовы из Ростова-на-Дону, в котором она по- вествовала, что жизнь ее мужа была загублена в желез- нодорожном депо начальниками-коммунистами, не желавшими соблюдать технику безопасности; и теперь она умоляет оградить от той же участи ее сыновей. От- части это напоминало мой давний опыт советских вре- мен по цинической попытке обслуживания сельских агитбригад, так что пришлось лишь вспомнить давние навыки...

Письма я «перебросил» и стал ждать. И вскоре был приглашен на летучку, на «кухню», так сказать, чего удостаивались, кажется, отнюдь не все сотрудники, и это был жест доверия ко мне со стороны руководства.

В тот день я впервые за год с лишним своей служ- бы увидел одного из небожителей Газеты. Не помню уж, как точно именовался его пост в холдинге, но, ка- жется, в названии фигурировало слово «генеральный». Так или иначе уже сама его наружность весьма озада- чила меня, и поразила ослепительная и порочная кра- сота двух его секретарш.

Во-первых, у него была коса. В Газете до того я ви- дел лишь одного мужчину с косой и с серьгой в левом ухе — длинного худого рирайтера, в свободное время прыгавшего с вышки с парашютом, и чаще всего под

банкой, потом его уволили за профнепригодность в сочетании с наглостью, чудовищной даже на фоне хамоватых его коллег.

У «генерального» серьги, правда, не было, одна коса, схваченная у основания пестрой ленточкой. Но в дополнение к косе на нем были джинсы, а на ногах то, что называется казаки. Так что выглядел он вполне дискотечно, хотя ему было лет под сорок. Как бы оттеняя эту атрибутику, он носил знаменитую боярскую фамилию и демонстрировал хватку записного комсомольского функционера.

То, что услышал я на этой первой и последней моей летучке, тоже было донельзя причудливо.

— Дозвонились до Шварценеггера? — спрашивал боярин какого-то идущего пятнами тридцатилетнего юношу, и я, клянусь, никогда не видел воочию, чтобы один человек так явственно боялся другого человека.

— Шварценеггер развелся, — отвечивал тот, дрожа.

— А до Паваротти? — наседал боярин.

— У него телефон не отвечает. Паваротти тоже развелся, — промолвил юноша замогильно, с таким трагическим выражением, будто был провинциальным родственником оставленной жены знаменитого тенора.

— И что, они теперь живут без телефонов? — с убийственной язвительностью осведомился комсомольский боярин.

— Но удалось связаться с Вероникой Кастро, — пробормотал сотрудник уже совершенно паническим шепотом.

— И что Кастро? — небрежно поинтересовался начальник.

— Ее референт сказал, что Вероника никогда не голосовала за коммунистов.

— Неплохо.

— Она вообще никогда ни за кого не голосовала.

— Так и напишите: никогда за коммунистов не голосовала. Кстати, о Кастро,— повернулся он к другому.— Найдите мне подходящий социальный параметр: скажем, на Кубе — самая высокая детская смертность...

— На Кубе самая низкая детская смертность в Латинской Америке, — пробормотал сотрудник извиняющимся тоном, натужно краснея, как если бы пытался достойно выжать непосильную штангу.

— Тогда другой параметр! — раздраженно бросил начальник и повернулся ко мне. Тут он позволил себе чуть ухмыльнуться, что могло сойти за приветливость.— Я прочитал ваши письма. Неплохо. Но жизнь оказалась сильнее вымысла. Нам удалось достать подборку подлинных писем в редакции «Крокодила». Пустим их колонкой справа по второй полосе. А вы,— он на секунду задумался, — вы не смогли бы составить нам антисоветский кроссворд?

Я не испытал шока и не упал в обморок. Я даже не удивился. Наслушавшись его, я был готов ко всему. По всей вероятности, он не понимал, что оскорбляет меня. Думаю, он вообще жил в каком-то ином, нарциссическом мире — мире нового буржуазного мифа, и уже сам Овидий не смог бы изъять его оттуда — хотя бы потому, что не знал по-скифски.

— Это не мой профиль,— сказал я сухо.— Я литератор, а не составитель крестословиц. Я могу идти?

— Конечно, — позволил боярин, небрежно кивнув и потеряв ко мне интерес. — Мы с вами свяжемся.

Стоит ли говорить, что после этого моего демарша никто больше со мной связываться не стал.

3

Как я позже узнал — совершенно случайно, — Сандро не предлагали сотрудничать в «Черт, возьми!». Но тогда он сказал мне:

— Я сразу же отказался участвовать в этой затее. Что ж за лишние пару штук пачкаться! Но тебе твой запоздалый отказ, не сомневайся, тоже пойдет в строку...

Быть может, он рисовался передо мной. А может быть, хотел подчеркнуть, сколь я — на его фоне — беспринципен и конформен.

Впрочем, не он завел этот разговор. Я сам принялся распинаться на ту тему, что Пушкин ненавидел и презирал Булгарина, помимо всего прочего, быть может, и за то, что тот издал, по сути, первую в России буржуазную «профессиональную» газету, как бы естественный продукт собственной подлости — «подлости» и в старом, и в нынешнем значениях слова. До того все российские периодические издания были вполне салонны, посвящены преимущественно изящной словесности, в крайнем случае сатире на политическую злобу дня, но непременно облеченной в литературную форму, и адресованы узкому дворянскому образованному кругу... Я говорил, что и вообще издание газеты — занятие вполне

аморальное, род предательства и ренегатства, как раз для болгаринных.

— Предательства чего? — иронически поинтересовался Сандро.— Призвания артиста? Интеллигентского сословия?

— Предательства судьбы, — красиво сказал я.

— Что ж, в пушкинские времена было еще далеко до восстания масс, — обронил Сандро, и, по сути, это было замечание на тему. Но кто бы мог подумать, что Коля Куликов читает Ортегу?

— Купцы и лавочники уже и тогда были, — возразил я. — И грамотные приказчики. И мелкие служащие. И гувернантки. И романтические горничные. А до появления «Северной пчелы» читать им было нечего. Пушкинский «Современник» у них не пошел, с базара они понесли Булгарина и Марлинского...

Мы сидели в подвальном баре нашего ЦДЛ, через стенку от бильярдной, и коротали время за кофе и, конечно, за «по сто водочки» — коротали время до Приема, на который Сандро вдруг решил пригласить меня с собой. Причем потребовал, чтобы я был одет «блэк тай», не в смокинг, конечно, но прилично и повечернему, и тут мне пригодилось кое-что из гардероба, что некогда приобрел, поддавшись на уговоры жены.

Сандро давно грозился куда-нибудь меня отвести, но потом, на трезвую голову, к этой теме мы не возвращались. Хотя, не скрою, мне было любопытно взглянуть на нынешний бомонд — впрочем, у меня был период, когда меня приглашали на посольские приемы, и кое-какое представление о светских раутах я все-таки имел, но то было в далекие еще советские времена.

Подозреваю, Сандро несколько уязвляло, что я редко обсуждаю с ним его «хронику», и теперь он решил продемонстрировать мне как бы исток вдохновения, собственно тот материал, из которого, как из сора, рос его жанр, воистину стыда не ведая.

А между тем его хронику я почитывал. Это были целые полосные эссе, иначе не скажешь, в которых, подчас витиевато и с выдумкой, один светский сюжет наплывал на другой и перетекал в него, причем швы были мастерски спрятаны. И я подчас от души хохотал над вполне забавными переходами от сюжета к сюжету, анекдотами и остротами, особенно когда дело шло о знакомых прямо или косвенно мне лицах, преимущественно из статусной, что называется, богемы,— Сандро писал очень лихо, подчас не без своего рода не скажу изящества, но молодцеватости. Другое дело, что все это было весьма поверхностно и легковесно, однако мило.

Как-то Сандро обронил, что в Газете не понимают, какую он подводит под них мину. И что когда-нибудь он объединит избранные места из своих хроник, обрамит комментариями, и картина конца века в бывшей империи выйдет самая что ни на есть убийственная. Он выпустит книжку под названием «Сливки», где на светском фоне поместит портрет и самой Газеты. Подозреваю, в нем говорила жажда компенсации за свою в общем-то весьма подсобную в Газете роль. Я, чтобы расшевелить его, напомнил ему замечание Горького, что русский человек как ни посидит в тюрьме — так бросается писать мемуары... Сандро только мрачно ухмыльнулся.

Самое интересное, что у него была наготове и своего рода «философия жанра», и однажды он мне ее бегло изложил.

Суть сводилась к тому, что моделью для описания так называемой «светской жизни» может служить сказка о Винни Пухе, и это поначалу показалось мне просто не слишком умной шуткой: я, помнится, даже несколько удивился — у Сандро был прямой и очень мужской ум.

Но оказалось — дело было не так просто.

Он по полочкам разложил мне свою теорию. Сначала он говорил о единстве строго очерченного места и циклического времени, о сказочной условности «светского пространства», когда движение ограниченной группы персонажей осуществляется между несколькими десятками фиксированных точек: так сказать, между домом Пуха, норой Кролика и дуплом Совы. В принципе, говорил Сандро — на редкость для него вдохновенно — он берется составить своего рода карту столичного светского Леса. А заодно и путеводитель с досье на каждого персонажа. И я, помню, несколько удивился этой фундаментальности подхода к столь пустяковой материи.

Но это были лишь цветочки. Сандро был, как и положено литератору его типа, настоящий соглядатай. Он мог говорить отдельно о речи его персонажей; отдельно о светском сексуальном партнерстве внутри замкнутого круга — не просто как о племенном промискуите, а как об утонченной форме латентного инцеста; об инфантильном стремлении ничего не знать о внешнем мире, замкнувшись в своем мирке, но вместе с тем о потребности придать ему статус единственно подлин-

ного; и, конечно, о характерологии. Мне это казалось чушью собачьей, однако Сандро явно болел всем этим.

Сейчас, сидя в баре, он вернулся к этой теме:

— Знаешь, Милн был все-таки гений, сам о том не подозревавший. Он исчерпывающе описал все основные светские типы. Прочие — лишь комбинации базовых свойств. Сегодня, если угодно, я покажу тебе и Поросенка, и Кролика, и это будут известные всей стране люди...

— А Винни Пуха? — спросил я, чтобы поддержать разговор и пытаюсь острить.

— В некотором смысле, — вполне серьезно сказал Сандро, — Винни Пух — это я. — И посмотрел на часы. — Пора!

Глава VII

СО СЛИВКАМИ

1

Прием в главном зале ресторана «Шанхай» устраивал закрытый столичный клуб «Гранит», покушавшийся продолжить традицию старинного масонского. В некоем виртуальном, как теперь принято выражаться, Совете клуба состояли в качестве почетных отцов-учредителей все современные российские мегаломаны: от главного мэра отчизны заодно с его придворным Челлини до главного виолончелиста мира с постановщиком основных национальных площадных шоу Мука-

чевым-Глазуновским. Реальным же организатором выступала публика пожиже: театральный актер-комик, сомнительной репутации продюсер шоу-бизнеса, эстрадный певец, не дотягивавший, впрочем, до размаха Кобзона, и безвестный президент какой-то сырьевой биржи по фамилии Иванов. Разумеется, в деле продолжения клубных традиций русских аристократов от Новикова до Горчакова этой публике были все карты в руки.

Основная же масса членов была куда как пестра. Размеры вступительного, равно как и ежегодного, взноса держались в строгой тайне, но всеведущий Сандро пояснил, что фиксированной суммы нет, берут по максимуму, сколько с кого можно состричь. Скажем, с известного красавца телеведущего и брать не станут, он нужен как приманка и подсадка, а с прибалтийского золотопромышленника из Сибири за удовольствие потолкаться среди столичных знаменитостей — по полной программе, до нескольких сотен тысяч баксов. Между этими пределами, от нуля до шести нулей, колеблются доли в «гранитовском» общаке и прочих членов: еще недавно бывших на плаву кремлевских и антикремлевских политиков, известных банкиров и предпринимателей, владельцев газет и каналов, шоу-звезд, западных бизнесменов и даже нескольких послов стран «драконов»...

Мы прибыли вовремя, как было указано в приглашении, тютелька в тютельку, но зал гигантской фанзы уж полнился и сверкал. Середина была расчищена, и фуршетные столы тянулись по обе стороны вдоль строгих рядов красных с золотыми драконами колонн, под-

держивавших витиеватые расписные своды с загнутыми козырьками. Многие мужчины были в смокингах, дамы — в вечерних платьях, и бриллиантов хватило бы для средней руки распродажи «Де Бирс», а золота — на два приличных цыганских табора.

Впрочем, в облициях гостей царил разнობой. Мелькали и сям и там клетчатые пиджаки, какие англичане надевают для игры в гольф, кое-кто из дам был в мини, на иных были шелковые светлые косынки, обернутые вокруг шеи, и я заметил даже нескольких простоватого вида женщин в «сапогах» и одну в трауре.

Поведение гостей было довольно однотипным. Мужчины грудились у буфетных стоек, где брали, как фокусники, по несколько бокалов в руки — виски для себя, сладкое шампанское для дам; те же, в свою очередь, оттирая голыми плечами товарок, тискались к столам и накладывали закуску на две тарелки, себе и спутнику: вперемежку копченые китайские яйца, ростбиф, салат из крабов, крылышко жареной куропатки, копченую колбаску, телятинку с хреном, чуть лососины, какого-нибудь зазевавшегося кальмара, фаршированный авокадо, грибную икру, заливной язык, морскую капусту, расстегай с визигой,— полив натюрморт горчичным соусом с каперсами и увенчав пучком маринованного тростника. Однако самое замечательное было в том, что, отоварившись, публика не отходила в сторону, с тем чтобы уступить место другим клубным собратьям, но принималась здесь же жевать и пить, ставя свои тарелки прямо на край стола с коллективными закусками.

Становился понятен резон являться на прием загодя, за полчаса до срока, указанного в приглашении. Ибо нужно было успеть занять стратегические позиции. Сдвинуть окопавшегося нового аристократа родом откуда-нибудь с берегов Иртыша с отвоеванного им места у фуршетного стола уже никак не представлялось возможным. Члены элитного клуба стояли плотно, как ратники, плечо к плечу, банан не проскочит, спинами вовне, все что-то жуя, подкладывая и прихлебывая из стаканов, которыми предусмотрительно обставились, изредка только доставая из внутреннего кармана запетюкавший не ко времени сотовый телефон. Глядя на них, можно было подумать, что их только что сняли с китайской стены, где они с полмесяца несли караул в отсутствие полноценной пищи и цинандали.

Наконец, когда первый мучительный приступ голода был наспех утолен, по всему залу из многих динамиков, притуленных под потолком фанзы, раздались характерные микрофонные щелчки. За лязганьем зубов, стуком приборов о стекло, в многоголосом гуле комику, который вел собрание на правах сопредседателя, приходилось, однако, несмотря на радиофикацию, из себя вон лезть, чтобы быть услышанным. Я понял лишь, что после дежурных приветствий началась церемония вручения членских билетов вновь принятым.

Церемония длилась долго, ибо новых членов было десятка три. Каждый из них подходил к председателю, тот острил и вручал билет. Первым номером шла дама, и в микрофон была запущена какая-то дежурная шутка относительно того, что нынче и дамы могут быть членами мужского клуба, — дежурная потому, что голоса

остряка не было слышно, но большинство с воодушевлением рассмеялось. Дама оказалась главным тренером сборной страны по женскому синхронному плаванию. За ней последовали: президент алмазной ассоциации; бывший пресс-секретарь калмыцкого президента; американец, руководитель проекта инвестиций в мясоперерабатывающую промышленность по имени Джозеф КогаЪн, говоривший по-русски с одесским акцентом; владелец музыкальной радиостанции в дециметровом диапазоне «Золотой снег»; адвокат, только что выигравший в межмуниципальном суде громкий процесс по защите чести и достоинства одного известного политического функционера у газеты «Комсомольские Химки» (сам обладатель достоинства и чести блистательно отсутствовал); редактор нового журнала, посвященного фристайлу; топ-модель из агентства «Красные звезды»; и даже один бывший российский министр то ли печати, то ли экономики.

2

Сандро к столу пробиваться не стал, мы взяли с ним в баре по полстакана виски со льдом и наблюдали, стоя в сторонке. При этом Сандро все время с кем-то раскланивался, то и дело отбегал, чтобы подойти к дамской ручке, потом возвращался и возбужденно говорил, что и такой-то здесь, и такой-то, при этом употреблял уменьшительные имена. Вообще держался он как свой, но, зная его, я-то видел, как Сандро все больше начинал походить на гончую, которую привели на опушку этого

светского леса и вот-вот спустят с поводка. Только что слюна не капала из пасти.

Из любимых своих персонажей первым делом он показал мне Поросенка. Им оказался знаменитый прозаик, пишущий и стихи на случай, в нашейном шелковом платке под белой рубашкой с широченным воротником и в пиджаке элегантного твида.

— Не пропускает ни одного мало-мальски стоящего приема, — шептал Сандро. — Член всех клубов и ассоциаций. Лауреат всех премий. Всмотрись: типичный психастеник, реалистический интроверт, но тревожно неуверенный. Укрывается в настоящем, потому что боится будущего. Стыдится, впрочем, своей трусоватости, потому хочет быть значительным в глазах окружающих. То есть склонен к гиперкомпенсации, отсюда страсть к публичности, произнесение спичей по всякому поводу при всяком удобном случае. Стыдится своей боязни «больших животных», поэтому иногда склонен к неожиданно смелым демаршам...

И я вынужден был согласиться, что в этом портрете что-то есть, поскольку был некогда шапочно знаком с самим оригиналом. Да и внешне прозаик был чуть кругловат и глазки имел маленькие, добрые.

— Смотри, — толкнул меня Сандро опять, не прошло и минуты, — а вот и дядюшка Кролик.

По проходу шествовал подагрический седой господин с вельможной полуулыбкой на породистом и глуповатом лице. Он придерживал под локоток пожилую даму, явственно бывшую весьма пригожей в давней своей молодости.

— Почему Кролик? И чей дядюшка?

— Родной дядюшка нашего с тобой хозяина.

— Да ну! И кто же он?

— Издатель.

— И что же он издает?

— В том-то и штука, что ничего не издает, — отвечал Сандро, держа нос по ветру, как лайка с хорошим верхним нюхом.

— То есть как — ничего?

— А зачем ему издавать? У него есть одноименный с издательством банк, и деньги ходят по кругу — туда-сюда, туда-сюда.

— И что же?

— И этого достаточно. Но он приезжает рано утром в свой офис и редактирует.

— Что редактирует? — не унимался я, перестав что-либо понимать.

— Правит рукописи.

— Но зачем?

— Любит свою работу. Вообще-то он редкостный самодур. Со всеми кроличьими чертами: авторитарен, лишен какого-либо намека на артистизм, организатор-маньяк, лжив, пуст, единственная цель — кем-нибудь руководить; но и это у него плохо выходит, поскольку он не знает людей и чаще всего промахивается, недооценивая окружающих и партнеров. Приличные люди от него бегут как от чумы, поэтому он, как всякий тиран, окружает себя какими-то уродами и карлицами, шутами и полоумными, которым некуда больше податься...

— Да ты физиономист! — восхитился я, попутно отметив про себя, что оценка Сандро была чересчур эмоциональна для естествоиспытателя в светском лесу.

— Немного,— скромно кивнул Сандро.— Но не в данном случае. Просто я давно с ним знаком. Когда-то даже работал на него «негром». Написал ему брошюру. Про трамвай.

— Про что? — поперхнулся я виски.

— Он при коммунистах служил под крышей одной из центральных газет в Праге. И много писал о трамвайной промышленности братской страны. Вжился в тему и стал трамваеведом, так сказать. А заделавшись при Горбачеве издателем, заказал мне брошюру к столетию изобретения трамвая на основе своих газетных статей... Мне тогда позарез были нужны деньги, а дареной кобыле в жопу не смотрят,— закончил Сандро в своей несколько натужно-простонародной манере, бросил «жди здесь» и устремился в кучу малу у фуршетных столов.

Я наблюдал за происходящим с несколько тоскливым чувством человека, попавшего на чужие именины, как вдруг ко мне обратился невысокий господин в золотых очках, седлавших довольно основательный для его габаритов нос, господин до странности знакомой наружности.

— Вы меня не узнаете? — спросил он с небрежной улыбкой.

Тут меня осенило. Одно время он был каким-то экономическим министром в одном из быстро менявшихся наших правительств, а нынче возглавлял один из самых известных коммерческих банков.

— Как же,— сказал я, — я вас много раз видел по телевизору.

— Да нет же! — поморщился банкир. — Мы с вами учились в одной школе. Только я двумя годами младше.

И тут меня осенило. Я действительно вспомнил смешного недомерка с большим носом и уже тогда в очках. Но я был старшеклассником, а он — классе в седьмом, и потому, разумеется, водиться мы никак не могли.

— Читаю вас в Газете, — процедил он еще более небрежно через оттопыренную губу. — Бывает занятно... — И, протянув мне визитную карточку, взял под руку жену — она успела подарить мне светскую натужную улыбку — и прошествовал дальше, не попрощавшись. Тут я заметил, что рядом со мною стоит невесть как материализовавшийся Сандро.

— Было любопытно, Кирюха, наблюдать вас рядом, — сказал он каким-то незнакомым неверным голосом. И я понял, что на него мое нежданное знакомство произвело сильное впечатление. — Ты мог бы представить меня.

— Что ты, мы и незнакомы вовсе. Так, учились когда-то в одной школе...

— Ты должен был представить меня! — сказал Сандро с нажимом. И потом задумчиво: — Кажется, этот ближе всего к Иа-Иа.

Я вдруг отчетливо понял, что Сандро не совсем в себе. По-видимому, эта самая светская жизнь контузила его. К тому же я заметил странную вещь: чем больше Сандро шаркал по залу туда-сюда, тем более танцующей становилась его походка. В нем, таком всегда элегантном, но вполне мужественном, замаячило, мне показалось, словно что-то женское.

Тут к Сандро подбежал запыхавшийся фотограф из Газеты, едва таща, казалось, свой огромный кофр.

— Коля, везде тебя ищу! — крикнул он. — Ну кого снимать, показывай!

Дело в том, что Сандро обычно брал на разнообразные светские рауты кого-то из фотографов Газеты, а потом сам отбирал фотографии для своей полосы. Причем от работы фотографов во многом зависел успех его рубрики, так что он с ними много общался, а иногда даже в ожидании, когда ему сделают нужные отпечатки, сидел у них в помещении и играл в нарды.

Так что не было ничего странного в том, что молоденький фотограф обратился к нему за указаниями. Но лицо Сандро перекопилось. Мне даже на миг показалось, что он готов ударить фотографа, так он был зол.

— Я не для того здесь, чтобы давать вам уроки! — раздельно проговорил он сквозь зубы, на фотографа не глядя. — Вам платят за то, чтобы вы работали. Работали, ясно? Профессионально работали.

— Да я ничего, я только... — И фотограф попятился.

Едва сдерживая ярость, Сандро прошипел:

— Вот и отвали!

Фотограф отшатнулся. Он явно не понимал, что стряслось с Сандро, столь демократичным в стенах редакции. Быть может, он был новичок, впервые вышедший с Сандро на светскую работу, но я-то очень хорошо все понял. Ясно было, что Сандро никак не хотел, чтобы вся эта лощеная публика считала его репортером. Он во что бы то ни стало хотел быть своим на этой ярмарке тщеславия. Модным писателем, которого знают в лицо сильные мира сего. Ведь он — денди, макарони и мачо,

а вовсе не папарацци — и сам бы вполне мог быть одним из героев светской хроники. Да что там «одним из» — центральным героем, недаром же он называл себя Винни Пухом. И, чем черт не шутит, при всем своем уме, может быть, он искренне полагал, что вся эта сугубо разночинная публика действительно представляет собой элиту и нынешнюю аристократию. Впрочем, так ведь оно и было в известном смысле. Ибо восстание масс уже давно случилось, и, кажется, это необратимо, не так ли?

3

Тут официанты-китайцы в белых перчатках принялись разносить кто напитки, кто какие-то пряные финтифлюшки, непонятно из чего сделанные. Шорохи пошли по залу, мигнул свет, вспыхнули разноцветные лазерные лучи, побежали по потолку фанзы какие-то цветные точки и пятна, сделавшие и без того фантастический зал еще более призрачным. Лучи сбегались к центру, потом сдвинулись к краю ресторанного пространства, и в метрах полутора над полом возникла фигура дамы, облаченной в прозрачную мерцающую чешую. Кажется, это была женщина-змея.

Я тянул уж третью порцию виски, и мне стало жарко. Сандро опять исчез куда-то. Лица банкиров и президентов бирж, редакторов и телезвезд повернулись наконец от столов. Меня кто-то больно пхнул под ребро. Я обернулся: это была крашеная красавица с янтарной булавкой в копне ярко-медных волос — и тоже в чем-то

переливающимся; она сверкнула золотой фиксой и прошипела:

— Не понимаешь, что ль, фэнлю, — загораживаешь!

Я воспринял упрек как должное, успев отчасти освоиться с нравами китайского элитарного клуба. И деликатно подвинулся.

Меж тем женщина-змея извивалась под какую-то психоделическую музыку. Самое поразительное в этом номере было то, что, будучи и так практически обнаженной, она ухитрялась и еще раздеваться.

Сандро опять оказался рядом. Он жарко шептал, в который раз будто отвечая на мои не высказанные вслух соображения:

— Ты думаешь, вот тот, лысый, политолог, член, председатель и прочее в таком духе, — ты думаешь, он доволен своим положением в обществе? Он, который и так вскарабкался на самый верх, имеет счет в Швейцарии и не вылезает из телевизора? О нет, он недоволен, он всерьез считает, что достоин большего, много большего, что достоин Кремля. Ведь он умнее, тоньше, образованнее тех, кто над ним, и он хочет жить не в Бакровке, а в Барвихе. Но он навсегда останется только интеллектуальной услугой, и это он тоже понимает. Навсегда — понимаешь, как это для него безнадежно звучит? А этот твой банкир. Он что, считает, будто ему вот здесь самое место? Среди всего этого светского сброды... — Я отметил интонацию Сандро, совсем есенинскую.— Среди вчерашних политиканов второго сорта, актеров эстрады вчерашнего дня и телеведущих, которых в любой момент могут выгнать из эфира и выста-

вить на улицу под зад коленом, потому что они никто, лишь нанятые по случаю работники, хоть и мнят себя, конечно, незаменимыми звездами, обожаемыми народом. Черт с ними! Так вот, твой банкир полагает, что место ему, конечно же, никак не здесь, место ему — в клубе сильных мира сего, мира, а не его задворок и окраин. Но вот беда — в Давос его не приглашают, он туда не допущен, а банк его лишь в России может считаться приличным. Он-то, почти европеец, понимает, что в глазах реального мира, а знает он это не понаслышке, он владеет-то самым что ни на есть копеечным банчиком и что цена ему по мировым меркам — грош, и только в нашем захолустье он может блеснуть, раскошелившись на гастроли какой-нибудь пенсионерки вроде Дайяны Росс. Он понимает это — и каково ему жить! А Кролик, Кролик-то, наш дядюшка Кролик,— захлебывался Сандро,— ты думаешь, он простит судьбе и миру, что его однажды очень грубо взяли за шкуру и спустили с властной лестницы, когда он уж губу раскатал и почти заделался министром печати? Ох, никогда не забудет и не простит. А каково ему, владея всего-то вшивой издательской маркой, видеть, что его родной племянник, которого он некогда одним звонком отмазывал из ментовки, и тот теперь — хозяин Газеты, продав десяток акций которой, можно купить и дядюшкин БМВ, и дядюшкину дачку в Пахре, да и самого дядюшку с потрохами...

— Что ж, все мы недовольны собой и судьбой,— сказал я, уже почувствовав себя в этой атмосфере адептом сразу всех Трех Учений. — И те, о ком ты говоришь, они ведь не идут тропой бодисатв. Натура непосвящен-

ного всегда одна: у кого риса в супе мало, у кого жемчуг мелкий.

— Выпей лучше,— сунул мне стакан Сандро, ловко выхватив его с подноса околавивавшегося неподалеку китайца, — буддист хренов.

Тут в воздухе над головами собравшихся поплыли будто деревянные рыбы, и, казалось, по ним можно было постучать. Еще хлебнув неразбавленного виски, я почувствовал себя ушедшим из семьи. Мне ласково подмигнула черноволосая китайка, скорее всего девушка луны и ветра, что сидела у голубого глазурного водопада, неподвижно струящегося с черной лаковой скалы на потолке. И, кажется, вежливо поклонилась, сложив ладошки на груди. Что ж, я, человек ветра и потока, тоже страстно жажду быть членом китайского элитарного клуба. Здесь так хорошо и бесплатно кормят, демонстрируя притом танец живота. Здесь поят виски сначала со льдом, потом безо льда, и, кажется, здесь всегда весна. Здесь чиньхуа, если сказать по-китайски. Я хочу быть одним из этих милых, утонченных людей. Я буду покладист. Я припаду к ручке той шипящей дамы с золотом во рту и согласен составить антисоветский кроссворд для «Черт, возьми!». Я буду голосовать в едином демократическом порыве за всевластного императора нашей здешней Поднебесной. А скажут — только поприветствую Смену Треножника. Лишь бы вручили мне членский билет. Вручили бы в торжественной и галантной китайской обстановке. И приняли, и приняли к себе. Я тоже хочу — со сливками...

Я нашел себя сидящим в кресле в незнакомой полутемной, освещенной лишь двумя свечами комнате. Передо мной на журнальном столе стояла початая бутылка «Bells», а подняв глаза, я обнаружил и Сандро. Он сидел напротив, медленно водил указательным пальцем правой руки по внешней окружности бокала, который держал в левой, и не растаявший лед внутри стекла чуть колыхался и позвякивал. Он не смотрел в мою сторону. Но почувствовал, что я очухался.

— Что, оклемался? — сказал он бесцветно. — Тогда выпей.

Я посмотрел на часы — было около трех. Ночи, по всей видимости.

— И ты готов слушать? — произнес Сандро тихим голосом с несколько зловещей интонацией.

Мне стало смешно, я вспомнил Сандро в роли китайского Винни Пуха.

— Да, Винни, — сказал я и икнул. — Весь внимание.

— Выпей, — настойчиво повторил Сандро. — Есть содовая.

Он, как я лишь теперь рассмотрел, был в малиновом с темно-синим подбоем, такими же отворотами и обшлагами шелковом кабинетном халате, распахнутом на груди, странно безволосой, на которой мерцал латунный крестильный крест на золотой цепочке. В воздухе пахло благовониями — не иначе китайскими.

— Широкие трусы, — сказал я, беря в руки бутылку «Bells» и припомнив, что это слово означает на сленге.

— Ты дерьмо, — сказал Сандро.

Мне понравилась эта шутка, я опять рассмеялся, отхлебнул виски и запил содовой. Голова чуть прояснилась.

— Вы все дерьмо. Тяжелые, в тине, души — вот вы кто. Вы предали фаустовский принцип отношения к миру.

Ого, Коля Куликов шпарит по Шпенглеру.

— Ты тоже дерьмо, — с готовностью сообщил я ему. — Ты тоже предал фаустовский принцип.

— А вот это неверно, — возразил Сандро. — Это ты всегда полагал, что я такое же дерьмо, как вы все. А вот о том, что ты сам настоящее дерьмо, ты, кажется, и не догадывался.

Я вдруг понял, что он, что называется, в дым пьян. В лоскуты, если угодно. Мы все пьянеем по-разному, а я впервые видел Сандро в таком состоянии. Потому и не сразу разобрался что к чему. Он был, что называется, стеклянно пьян. До внутреннего звона и побелевших, почти закотившихся глаз. Но при отлично сохранившейся дикции.

— Знаешь, — сказал я как можно увещательнее, — есть такое наше русское ругательство: чтоб тебе пусто было! Страшное. Хуже всякой матери. Так вот, я всегда этого боялся, но мне — постучу по дереву, где у тебя здесь дерево, — мне никогда не бывало пусто... А ведь даже быть наполненным дерьмом — всё лучше, чем быть пустым...

— Перекрестись, — сказал Сандро с интонацией.

— Я неверующий. — Я, кажется, снова икнул. — Послушай, Коля, как я сюда попал?

— Дерьмо, — повторил Сандро.

Я еще глотнул.

— Позволь? — Я не сразу смог встать на ноги.

Он наблюдал за моими телодвижениями, сжав зубы и катая желваки. Я почувствовал на собственной бороде длинную висюлину слюны, которую пустил, видно, во сне, и смазал ее ладонью. И попытался улыбнуться.

— Когда найдешь сортир — ссы сидя. Иначе ты не попадешь и все вокруг уделаешь, — сказал Сандро. — Вы всегда все вокруг себя уделываете.

— Хоть лежа, — отвечивал я и, покачиваясь, направил стопы прочь из комнаты. Не знаю отчего, но у меня было самое игривое настроение. Так бывает в предчувствии драки.

У Сандро оказался соединенный санузел. Но не это меня удивило. Меня поразили небесной белизны махровые полотенца, развешанные в ванной, как будто это была не квартира московского богемца, а — трехзвездочный по крайней мере — европейский отель. И ни малейшего следа присутствия женщины: ни баночки дамского крема, ни заколочки. Правда, биде у Сандро не было — за неимением места, должно быть. Выйдя из сортира, я заглянул и на кухню. Там тоже царила стерильная аптекарская чистота.

— Слушай, старик, — начал было я, вернувшись в комнату, — отчего ты меня никогда не приглашал к себе в гости?..

И увидел, что Сандро стоит у зашторенного окна и наводит на меня револьвер. Мелькнула странная мысль, что Сандро, должно быть, что-то у меня украл. Он повел дулом пистолета и сказал:

— Сядь где сидел.

Я повиновался. И еще раз огляделся. Даже в полумраке было видно, что в этой почти пустой комнате тоже царит какой-то нежилой порядок. Даже раскрытой книжки, забытой не на месте, нигде не было видно. «Он меня убьет?» — спросил я сам себя.

— Вам приходит конец, — сказал Сандро. — Это-то хоть вы понимаете?

— Скорее всего, — согласился я, внимательно на него глядя.

Он был невероятно бледен. Его и без того маленькие глаза совсем сузились. Его серый бобрик стоял на голове как вздыбленный.

— Ты сказал, что я недоволен положением, которое занимаю.

Я сделал неопределенный протестующий жест; хотя я действительно думал об этом, наблюдая Сандро на приеме, но вслух этого не говорил. Впрочем, это сам он говорил, сколь всякий человек недоволен собой...

— Я доволен своим положением, — с нажимом сказал Сандро. — Мои слова ловят на лету. В субботу все эти холеные суки будут лихорадочно листать Газету. И будут бояться, что найдут в светской хронике свое имя. А еще больше будут бояться, что не найдут. — Он покачнулся.

— Думаю, это так.

— Ты вообще за кого меня принимаешь, интеллигент хренов? За такого же, как ты сам? Ты хоть задумывался о том, что Иисус Христос не был интеллигентом?

Такая постановка вопроса мне действительно никогда не приходила в голову.

— И я не интеллигент. Ты с потрохами принадлежишь своему классу, а у меня нет родни. И мои родители были люди иной, чем я, породы, и тоже были дерьмо. Правда, другое, чем вы. Иного вида, если угодно. Потому что есть родство более важное, чем по крови, — родство по духу. А по духу я принадлежу к героям и самураям, людям чести, победы и атаки.

Скорее всего он говорил о своем плебейском происхождении. Ведь вырос он, наверное, на задворках, в каком-нибудь рабочем поселке, в бараке среди голубятен, дровяных сараев, сушащегося на веревках бедного белья, «городков» и пьяных драк. И «атаки» для него — это завоевание Москвы, что ж, он ее завоевал в известном смысле, честь ему и хвала.

— Ты всю свою жизнь вдыхал лишь запах кабинетной пыли и книжек в библиотеке. А я сын офицера. Я вырос среди казарм и оружия. — И Сандро, видно, забывшись, нажал на курок своего револьвера. На конце ствола вспыхнул язычок пламени, и он прикурил от него.

— Это романтично, — сказал я, живо представив себе всю одурь и хмурь заштатного какого-нибудь военного городка.

— Что вы понимаете в романтике? Вы думаете, что познание, творчество — что там еще — и есть фундаментальные свойства человека, фаусты вы для бедных. Агрессия, здоровая агрессия — вот основа человеческого существа. Вот основа романтики договора с самим злом...

— А кто это — вы? — спросил я.

— Вы все, с вашими либеральными газетенками и высоколобой чушью, демократы, ё...— Он, видно, забыл, что и сам вот уж года три служит в самой либеральной в стране Газете. И мне пришло в голову, что, по-видимому, его агрессия замешана на предательстве — впрочем, всякая агрессия начинается с вероломства. — Нам, героям, нужны развевающиеся знамена, факельные шествия, единство и громкие марши. Мы люди несгибаемой воли...

— Знаешь... — начал было я, но не успел договорить. Я хотел бы сказать ему, что мне наплевать на его несгибаемый дух самурая из поселкового барака, на его героизм, замешанный на опыте уличных драк. Что сам я в любом случае буду на стороне тех, кого убивают. На своей стороне, если угодно. Но что это отнюдь не означает, будто я позволю себя убить просто так. И что у нас тоже кое-что есть в запасе. Но Сандро как-то покосился, потом подломился и почти ничком, лишь придержавшись за занавеску, которая треснула и тоже поползла вниз, рухнул на пол. Только тут я рассмотрел, что паркет в его комнате был выкрашен темно-зеленой краской.

Глава VIII

ПАДЕНИЕ

1

Когда живешь набекрень, так и хочется думать, что это не ты один спотыкаешься и выбиваешься из колеи,

но всё, что ни есть вокруг, к концу тысячелетия сходит с оси. Для того чтобы уверить себя в этом, у каждого неудачника всегда найдется сколько угодно поводов — только успевай оглядываться. Вот и мне окружающая жизнь с удивительной предупредительностью подбрасывала подобные утешительные факты: мол, что ж тебе сетовать на судьбу, коль и весь мир неврастеничен и сорвался с цепи. Конечно, не о чудовищности нынешней жизни хоть на Востоке, хоть на Западе я говорю, не о густом облаке насилия, глупости и ренегатства — о частностях. Скажем, я узнал, что тот самый тишайший кандидат наук, что возил Асанову на редакционном автомобиле, выбросился из окна. От любви ли, из-за долгов или от усталости жить — кто знает, но только теперь доставлял асановское семейство на дачу и привозил оттуда совсем другой шофер. Или вот еще: Иннокентий бросил свою милую жену-гобоистку вместе с маленьким сыном-гобоистом, тоже косоглазеньким, в отца, и ушел-таки к худой грузинке, писавшей о балете, той самой, которой я не так давно делал нежные предложения, — и она мгновенно уволилась из Газеты. И все бы ничего, у одного моего знакомого поэта было девять жен, правда, последнюю он оставил вдовой, причем самым экстравагантным способом, угодив под колеса обыкновенной хлебовозки, вот только грузинский муж, тоже из культурологов, когда понял, что брошен окончательно и навсегда, умер от сердечного приступа на улице, когда гулял с оставленным же американским кекер-спаниелем. Наконец, того самого пьяненького моего соседа, что прорабатывал советских классиков, жена

посадила в тюрьму за то, что он ее поколачивал, и, кажется, выписала из квартиры.

Ну да это все природы демонические — что Асанова, что супруга моего дворового алкоголика, что любвеобильный поэт, что Иннокентий. Но даже с такой понятливой, такой спокойной всегда моей женой после той памятной ночи, проведенной мною в квартире Сандро, произошла неприятнейшая метаморфоза. Я ведь не позвонил ей тогда, что не приду ночевать. У меня просто не было навыка звонить домой вечером, поскольку вот уж два десятка лет, коли я был в Москве, я безукоризненно ночевал только у себя дома. То есть я забыл ей позвонить. Что означает, конечно, лишь одно: я перестал думать о семье так же неотступно, как думал прежде. Виноват ли в этом стресс, виноват ли алкоголь, но это был, что называется, фактический факт, и, конечно же, жена не могла этого не почувствовать. Поэтому когда она вошла ко мне в кабинет, то, не обронив даже «доброе утро», тихо спросила:

— И где же ты был?

— Я... у Сандро... заболтались... нет, ты не думай...

— Я не думаю, — вставила жена.

—... Поначалу мы были в «Шанхае», на светском рауте, а уж потом... там, понимаешь, было собрание элитарного китайского клуба... ну а потом...

Говорил я неубедительно, понимаю. Но не потому ведь, что я лгал, вы знаете, а потому лишь, что с перепоя язык не слушался меня, к тому ж я не мог собраться с мыслями. Ведь не было еще и десяти, и спал я, кажется, от силы часа три.

Впрочем, жена и не слушала моих невнятных объяснений.

— Мне совершенно все равно, где ты ночуешь,— внятно произнесла она несусветную фразу, оборвав меня на полуслове, фразу, еще год назад в нашем доме совершенно невозможную. И добавила, как добавляют в таких случаях все оскорбленные жены и отчаявшиеся родители великовозрастных детей: — Прошу лишь впредь своевременно ставить меня в известность, коли ты не собираешься явиться домой.

Это было сказано презрительно. Но я не обиделся. Мне было жаль ее, так меня любящую. Мне послышались в ее словах одна лишь нежность и просьба одуматься. Конечно, она любит меня и понимает, как никто, и знает, что я никак не мог, скажем, ей изменить. А поведение мое в последнее время и впрямь было ужасным, и я, конечно же, провинился.

— Прости меня, — пробормотал я самым трогательным тоном, на какой был способен в этих обстоятельствах, и потянулся с кушетки погладить ее по волосам. Ожидая, естественно, что она нагнется ко мне и положит голову мне на плечо.

— Не дотрагивайся до меня! — вдруг крикнула она неприятным, незнакомым голосом. Она, которая никогда не кричала.

— Ты что, русского языка не понимаешь? — завопил и я, с трудом принимая вертикальное положение. — Я же тебе говорю русским языком... мы с Сандро... в «Шанхае»... а потом...

— Я понимаю русский язык, — сказала жена с нажимом. — Вот только тебя не узнаю.

И тут меня понесло. Я орал, что пошел служить в Газету, наступив на горло собственной песне, только ради семьи. И все, что я делаю, я делаю только для них, для жены и дочери, а самому мне ничего не нужно. Что я мог бы жить в скиту, в вечном посте, лишь бы мне дали возможность писать, писать то, что я хочу и что должен написать. И что мне нужна лишь моя пишущая машинка... Увы, я и сам понимал, как слабо и неубедительно все это звучит, только скандально.

По мере собственного крика я непроизвольно сползал с тона обличительного — в просительный, но никакого сострадания не было в ее лице. Она лишь выразительно пощелкала ногтем указательного пальца по горлышку бутылки водки — да-да, теперь я пил только водку, потому что денег на бурбон у меня больше не стало, — откупоренную бутылку, стоявшую отчего-то на столике рядом с кушеткой, видно, я прикладывался к ней, когда ввалился домой. И заметила:

— Какой же в этом подвиг — зарабатывать деньги, чтобы кормить семью? А вот другое я вижу — вчера этой бутылки здесь не было. Ты что, пьешь уже с раннего утра?

И вышла, прикрыв за собой дверь.

Тут мне стало совсем плохо, и я полез за сердечными каплями. Надо заметить, что в моем кабинете и до этого утра время от времени стало припахивать корвалолом, и я, тайно страшась, что от меня самого теперь разит лекарствами и стариком, принимал ванну по десяти заходов на дню, как утка. Но на сей раз это было какое-то новое чувство: не просто похмелье, слабость, тошнота и теснение в груди. Был резкий прилив крови к

голове, наверное, скачок давления, и я со страхом подумал, что вот так хватает людей апоплексический удар. Я представил себя парализованным, в кресле на колесах, гундосившим что-то олигофренически невнятное. Я представил себе, что правая моя рука отнялась,— она тут же и впрямь онемела. Я представил себе не без мстительности, как вывозит жена, тужась, мое тяжелое кресло со мною внутри на балкон, чтобы я мог погулять, — ведь это она сама была во многом виновата. Но в то же время сообразил, что если подобные мысли хоть раз приходили в голову ей самой, то она вправе говорить мне все что угодно.

2

В тот день, когда произошло у нас с ней решительное объяснение, Асанова была со мною восхитительно мила. Она вопреки заведенному ею же обычаю не стала с места в карьер пускаться в обсуждение моего очередного опуса, но предложила, как некогда, грушу — свежие фрукты по-прежнему всегда стояли у нее на столе. Поскольку она давно не предлагала мне груш, я насто-рожился, вежливо поблагодарил и отказался.

Тогда она сказала:

— Мне обидно, Кирилл, что я не могу вам платить тех денег, что вы по всем меркам заслуживаете.— Тут она сделала паузу и подцепила-таки грушу за хвост лакированными коготками. Поскольку я не сделал никакого движения груше навстречу, она положила фрукт на стол прямо передо мной.

Груша была аппетитная, желтая с малиновым подпалом. И, даже не наклоняясь, можно было расслышать ее аромат.

— Или, может быть, винограда? — спросила Асанова участливо, как больного, но чужого ребенка.

— Спасибо, — упрямо повторил я.

— Но для вас в Газете есть и другая работа. Там вы будете получать вдвое больше. А ваша рубрика у меня в субботнем номере, конечно же, останется за вами, — добавила она торопливо. И все с самым невинным видом.

Я вдыхал грушевый аромат и ни на секунду ей не верил. Она превосходно умела лгать и притворяться, но меня ей теперь было трудно провести. Она хотела избавиться от меня. Возможно, эти самые «портреты» теперь будет сочинять Макарушка или еще кто-нибудь из ее многочисленных родственников.

— И какая же это работа? — спросил я безо всякого явного интереса. Впрочем, мне и впрямь было все равно.

— Вас приглашают в отдел рирайта, — сказала она.

И тут я все-таки удивился:

— Меня?!!

— Нет-нет, не простым рирайтером! — быстро и даже чуть испуганно воскликнула Асанова, опасаясь, видно, что я, человек явственно неуравновешенный и пьющий (мне уже не раз доносили, что Асанова удивляется: мол, он так много пьет, а все-таки неплохо пишет), сейчас брошу в нее грушей или запущу пепельницей. И понесла приличную случаю неискреннюю околесицу. Она делала комплименты моему стилю и чувству слова

(что ж ты, сука такая, так безбожно меня кромсала, тоскливо думал я); она говорила, что от меня, конечно, потребуется не повседневная рутинная работа, а чтение и редакция только самых ответственных текстов (статей Насти Мёд, к примеру, ухмыльнулся я про себя); и что дама, которая приняла отдел из ее, Асановой, рук, просто умоляет ее, Асанову, уступить меня ей, поскольку ей необходим человек такой квалификации (представляю, что они на самом деле говорили обо мне за моей спиной, беседа за кофе)...

То, что Асанова готова сбегать меня куда угодно — хоть в службу секьюрити, — было очевидно. Возможно даже, что и начальство, после моего краткого сотрудничества с «Черт, возьми!», не желало больше видеть мою подпись под материалами Газеты. Но так или иначе было ясно, что мне подготовили уже самое настоящее падение. Даже в чисто топографическом смысле — с третьего этажа на второй. Отдел рирайта — это была даже не ссылка, из ссылки можно надеяться вернуться; это было даже не окончательное изгнание из Газеты, которое ведь можно обставить без шума и прилично — мол, ушел по собственному желанию, найдя другое место; это был полновесный публичный пинок под зад, несмываемое унижение — хотя бы потому, что журналисту в моем возрасте и положении делать такие предложения абсолютно неприлично — все равно что предложить идти распространять номера Газеты с уличного лотка; не говоря уж о том, что после рирайта нельзя было рассчитывать на приличное место где бы то ни было. Быть может, такая работа и могла стать

стартовой площадкой для молодого человека, но никак не для меня...

Я обещал подумать и откланялся, сдерживая дрожь в руках.

— Вы забыли взять грушу! — крикнула Асанова мне вслед.

«Пойдите покушайте синих груш», — вспомнилось мне. И — еще этого не зная — я прямым ходом направился их кушать. Потому что дома меня ждала записка жены: «Мы с Юлей на две недели в Малеевке. Не хотела тебя тревожить и все устроила сама». Ни подписи, ни прощального поцелуя, лишь приписка: «У тебя в столе я взяла немного денег. В холодильнике грибной суп, тушеная капуста. Ешь». Кажется, в этот день все, как сговорились, озаботились моим пропитанием.

3

Теперь отделом рирайта руководила совершенно несусветная тетка по имени Тоня Резник.

Один вид ее говорил о многом. Это была кургузая бабенка лет под сорок, очень смешно одевавшаяся. На ней вполне могли оказаться короткая юбка темно-зеленого плюша, белая кофточка с пышным жабо, золотая золотой брошью с бриллиантами, бархатная какая-то жилетка алого цвета с серебряным шитьем в фольклорном стиле, а на ногах спортивные белые тапочки, будто она собралась бежать кросс.

Под стать была и сама ее внешность. У нее были короткие ноги формы бракованных бутылочек, низкая попка, но очень красивые каштановые пышные волосы

и маленькое голубоглазое личико, казавшееся бы даже хорошеньким, если бы не невероятно сучье его выражение, означавшее постоянную готовность к скандалу первой категории стервозности. При этом она была похотлива, облизывала, завидя объект, губы спорым языком и задавала идиотские вопросы на свободную тему, что было верхом ее своеобразного кокетства. Короче, море обаяния.

Попала она в рирайт, как и я, будучи сосланной, пониженной из заведующих то ли отделом сервиса, то ли полосой «Модный магазин». Она, быть может, была единственным человеком в Газете, пойманным на взятке прямо на рабочем месте. Кстати, скандалы такого рода шли здесь постоянно, вот только никто все-таки не доходил до такой наглости, как потребовать от клиента нести пакет с баксами прямо в служебный кабинет, — скорее всего, впрочем, ее подставила служба секьюрити. Другую, конечно же, тотчас уволили бы, но мама Тони Резник некогда сидела за одной партой с мамой кого-то из учредителей Газеты, так что Тоню лишь временно — можно было не сомневаться, что лишь временно, учитывая ее природную цепкость заведующей овощной базой, — сослали на этаж ниже, да и то, видно, лишь потому, что с уходом Асановой там открылась вакансия. Впрочем, в Газете и без Тони существовала большевистская практика перемещения неспособных или проворовавшихся из одного руководящего кресла в другое. Но в данном случае юмор был в том, что Тоня Резник теперь отвечала за стилистику и общий тон Газеты, не говоря уж о простой грамотности.

Меня она скорее развлекала, чем раздражала. Как-то, скажем, я услышал из ее уст рассказ о том, как, будучи в очередной раз в Париже, она направилась на модную премьеру в «Гранд-опера». «Постановка неклассическая, — небрежно, как завзятая парижанка, объясняла она, — как бы модерновая, поэтому мизансцены легкие, чтобы проще было возить их на гастролы...» Однако ее плюсом был истинно комсомольский энтузиазм, убеждение, что нет таких вершин, какие бы она не взяла. Своих подчиненных она наставляла с воодушевлением.

— Помните, все они, — она тыкала коротким пальчиком в потолок, в третий этаж, — говно, никто из них писать не умеет, уж поверьте мне, я-то знаю. Так что без церемоний. Мы здесь с вами, если надо, и «Анну Каренину» перепишем...

Впрочем, это совпадало с прежними установками Асановой, которая и насадила здесь высокомерие, Тоня лишь выражалась прямее. И думаю, скомандуй она, и переписали бы, были готовы.

Самое поразительное, что все эти высоколобые мальчишки и девочки, оказавшиеся в ее подчинении, ее обожали и почитали как мать родную, хоть за спиной и подсмеивались — что поделать, нигилистический возраст. Видно, чувствовали какую-то родную жилку. Из своей прежней «команды» Тоня привела лишь одну девушку, статуарную, с несколько тяжеловатой на нынешний вкус фигурой Венеры Милосской, с застывшим, чуть одутловатым лицом. Она сидела сиднем у Тони в кабинете и молчала, лишь изредка исчезала по каким-то неведомым особым поручениям наверх.

Надо сказать, что мое появление в отделе было воспринято с полным равнодушием — меня просто не замечали. Или делали вид, не знаю, но так или иначе в этом была своего рода деликатность. Тоня же Резник сначала вела себя резковато, щетинилась, не упуская случая подчеркнуть, кто здесь главный, правда, без явных грубостей, но, когда убедилась, сколь я безвреден, тоже стала глядеть мимо, как на пустое место, и оставила в покое.

Как это ни странно, я не плохо себя чувствовал среди этих молодых людей, оказавшихся на поверку пусть чуть вздорными, но по-своему милыми, простоватыми, как инженерно-технические работники. Они играли на работе в шахматы-блиц и «болели за футбол»; пили ближе к десяти вечера, когда основная масса сотрудников Газеты расходилась, а Тоня, раздав указания, отбывала домой, незамысловатые алкогольные напитки; гуляли по Интернету не по нужде, а лишь ради прогулки, как дамы идут на шопинг; слушали песни БГ и читали прозу Пелевина; у них были дежурные внутрицеховые шутки, совсем как у провинциальных актеров, цитирующих к месту и не к месту словечки из текущих ролей, — в данном случае ударными репликами служили выловленные ими у авторов разных отделов Газеты нелепые фразы и фразочки, которыми они и перебрасывались то и дело... Я выпивал с ними фетяску и клюквенный «Смирнов», проигрывал им в шахматы, интересовался футбольным счетом. Как-то раз ко мне обратился тот самый лупоглазый рирайтер, что учил меня некогда орфографии. Он мялся, как человек, которого давно мучает какая-то загадка, а потом спросил все-таки:

— Вот вы писали как-то рецензию на Соломона Вайта.

— Писал.

— Вы утверждали, что это острый, талантливый прозаик.

— Скорее всего. — Соломон Вайт был немолодым человеком и блистательным переводчиком и выпустил первую книгу своей прозы, которую писал много лет, но которая прежде напечатанной в России быть никак не могла. И книгу очень талантливую.

— Странно, очень странно, что вы так думаете.

— Он вам не нравится?

— Понимаете, я живу с ним в одном кооперативе. Так вот, однажды выяснилось, что он провел к себе электропроводку, минуя счетчик. И что вы думаете — оштрафовали не его, а весь кооператив...

Этот юноша, как оказалось, еще не решил для себя дилемму, мучившую пушкинского Сальери.

Вы спросите, отчего же я все-таки согласился и оказался здесь? Под началом Тони Резник. Среди этих невинных в общем-то юношей. Редактируя чужие, чаще всего довольно вялые и совсем мне не интересные тексты. Я отвечаю. Мне было некуда идти, это раз, в том смысле, что никто и ничто меня нигде не ждало. Иначе: у меня оказалось достаточно свободного времени — точнее, все мое время теперь было свободным, чтобы идти по тому пути, на который ступил я почти случайно, если можно, конечно, говорить о случайности, коли судьба сталкивает тебя на обочину с твоей главной дороги,— идти до конца, а на вопросы престижа, как выяснилось, мне, в сущности, было наплевать. Проще го-

воря, мне стало любопытно, чем там у них, у Карениных, дело кончится. И стало тем более любопытно, когда — и очень скоро — обнаружилось, что очередное мое эссе Асанова забраковала и отныне рубрику «Портрет» в субботнем номере Газеты будет вести писатель Николай Куликов.

4

Ровно через две недели и три дня после того, как моя жена удалилась от меня в сторону Малеевки — раза четыре, правда, она звонила, но всегда торопясь, ссылаясь на большую очередь к телефону, — у нас в квартире отключили горячую воду. Для меня это удар по привычкам, ведь я не мог теперь читать утренние газеты, лежа в ванне. Кто-то из моих теперешних юных коллег надоумил меня ходить в финскую баню, находившуюся в подвальном этаже Газеты. Я было заменился, но оказалось, что все донельзя просто, нужно лишь иметь при себе тапочки, плавки, полотенце, а я еще прихватывал и шелковое кимоно, подаренное мне некогда, в самом дебюте моей работы в Газете, женой — не помню по какому случаю.

Баня оборудована была славно. При входе в помещение всего оздоровительного комплекса, как это именовалось, сидели две милейшие девушки — одна совсем маленькая грудастая блондинка, смешливая и бойкая, другая темненькая, повыше, с всегда будто заплаканными, как у Гали Свиаренко, добрыми глазами. Прямо напротив их конторки была комната для охран-

ников Газеты, и сменившиеся с вахты у главного входа дюжие молодцы вечно смотрели там видео.

Девчушки следили, чтоб, не дай Бог, ты не поперся в банный комплекс в ботинках, а переобулся, и выдавали тебе номерок от твоего шкафчика. Чтобы попасть в раздевалку, нужно было обогнуть по периметру зал с тренажерами, которым распорядилась средних лет дама в тугом трико, обтягивавшем ее с развитыми зрелыми формами фигуру. Переодевшись, шлепая тапками, в развевающемся кимоно, с полотенцем через плечо я направлялся в боковую дверь, здесь был маленький буфетик с самоваром и несколькими деревянными столиками и деревянными же лавками, причем чай наливать себе ты должен был самостоятельно. За помещением буфета была собственно баня: налево душевые кабинки, направо небольшой бассейн, а если дернуть тяжелую дверь справа от него, то попадаешь непосредственно в сауну, всегда раскаленную...

Работало все это хозяйство допоздна, до девяти вечера, а так как служба у меня теперь была сугубо вечерняя, то, отчитав какой-нибудь коряво-ветвистый текст из тех, что поручала мне Тоня Резник, я на полчасика мог отлучиться в баньку, причем времени мне вполне хватало — млеть в сауне, сидя на полочке, как средних размеров окорок, я не люблю, иное дело — наша русская парилочка, так что совался в сауну я лишь для проформы, открыть поры, а там спешил в душ, где и проводил блаженных четверть часа.

С девушками на входе я и до того был знаком — они по совместительству ведали и прокатом видеокассет, — так что изредка, коли я прибежал в баню в по-

следнюю минуту перед закрытием, мне позволялось оставаться там и после девяти, на двадцать-тридцать минут...

Я опаздывал в тот день. Какой-то особенно заковыристый текст задержал меня, и я подхватился бежать в баню уж совсем поздно, около десяти, может быть, в самом начале одиннадцатого, подхватился для очистки совести, зная, что поздно, конечно, и что ходить мне до завтрашнего дня немывтым. Вход в оздоровительный комплекс был закрыт, я на всякий случай подергал ручку, и дверь, к моему удивлению, подалась. Правда, девочек нигде не было, не было и патронессы тренажеров, но в спортивном зале горел слабый свет. К тому же на стуле у столика дежурных висела дамская сумочка и стоял пластиковый пакет. «А-у!» — позвал я, но мне никто не ответил. Будь что будет, добегу до душа, хоть ополоснусь. Я быстренько скинул ботинки, пробежал до раздевалки, мигом переоделся и пошлепал в сторону бани. Едва я открыл дверь, как увидел, что на одном из буфетных столиков стоят початая бутылка «Джек Даниэл», несколько бокалов, в одном из которых еще не растаял коричневый лед, и тарелочка с солеными печеньями. Это привело меня в некоторое замешательство, в этом самом комплексе был начисто запрещен алкоголь, так что свою четвертинку — я всегда теперь имел ее при себе, следуя заветам, которые оставил генералиссимус Суворов солдату, что, мол, штаны заложу, но после бани выпей, — свою четвертинку я опорожнял уже наверху, иногда мне для этой цели приходилось запирается в туалете. Впрочем, что мне за дело до чужого виски, решил я и отправился дальше. Какую-

то смутную тревогу я все-таки испытывал, конечно, но другое чувство было много сильнее,— нет, не простого любопытства. Это было скорее неясное предчувствие, что сейчас мне нечто откроется... Я распахнул дверь в сауну.

В первую секунду в клубке голых тел я не мог разобрать — мужчины это, или женщины, или те и другие, даже количество тел было не сосчитать. Но вот, как в рапиде, клубок стал распадаться, я узнал прелестную малютку блондинку с темно-русскими от влаги, спутанными волосами, узнал роскошную тренершу с чудными грудями; худенькая брюнетка взглянула на меня своими заплаканными очами и прижала локотки к ребрам, ладошками прикрывая соски. Был здесь и знакомый мне комсомольский боярин, коса его несколько измочалилась. Наконец, был здесь и второй мужчина, черты лица которого показались мне отчасти знакомыми. Он-то и подал голос первым:

— Как здесь оказался этот пидор?

Кролик, тотчас узнал я, это же дядюшка Кролик. Только моложе лет на двадцать, но вылитый.

— Девки дверь не заперли, — лениво отвечал боярин и протянул руку куда-то вбок. У него в ладони оказался сотовый телефон. — Эй, кто там, Жора, иди в сауну, забери здесь одного... писателя. — Последнее слово он произнес с неподражаемо презрительной интонацией. И показал мне рукой: мол, проваливай.

Едва я, ретировавшись, опять оказался в буфетике, меня подхватили под руки двое молодцов столь расплодившейся нынче породы: бритые, с той осмысленностью морд, которую мы невольно приписываем мрачным жвачным животным, когда встречаемся с ними взглядом. Они поволокли меня к выходу так споро, что мне пришлось семенить ногами.

— Вещи, там мои вещи, — залопотал я, очень озабочась судьбой моей четвертинки.

— Возьми его вещи! — приказал один из них другому — Жора, наверное. Тот шагнул в раздевалку, сгреб в охапку мою одежду, взял пакет. И опять они повлекли меня так быстро, что я начисто забыл о своих ботинках, оставленных в предбаннике. Когда они завели меня в комнату для просмотров видеофильмов, напротив вахты, то сунули мне мои пожитки в руки, и в пакете я ощутил знакомую легкую тяжесть.

— Документы, — сказал Жора без выражения.

Тут я вспомнил, что редакционное удостоверение вместе с сумкой и пиджаком оставил на рабочем месте.

— Они там, — указал я пальцем наверх.

— Нет документов, — сказал Жора.

— У него нет документов, — поддакнул его напарник на той же бесцветной ноте.

Они оглядели меня с некоторым сожалением, или мне лишь почудился оттенок этого выражения на их ничего не выражавших лицах. Быть может, им было жаль, что они не могут здесь же меня отметить.

— Пусть завтра старшой разбирается, — сказал Жора.

— Пусть, — кивнул напарник.

Не сговариваясь, они подвели меня к задней стене комнаты, что-то щелкнуло, открылась незаметная до того дверь, меня легонько подтолкнули, и я оказался на площадке обыкновенной лестницы с перилами, ведущей вниз. Дверь мягко закрылась за моей спиной. Я огляделся. Здесь было сухо и чисто. Горел тусклый свет. Единственное, что было необычно, так это то, что откуда-то снизу слышен был равномерный негромкий гул. Я отправился по ступеням вниз.

Гул нарастал. Ощущалась теперь и вибрация, будто где-то рядом за стеной бесперебойно работал некий механизм. Я спустился на два пролета. Здесь стояли лавка, урна, из стены торчал противопожарный гидрант. Так могло бы выглядеть место для курения на какой-нибудь прядильной фабрике, на которой перерабатываются легко воспламеняемые материалы. Я присел на лавку, нащупал в пакете четвертинку, избавил горлышко от целлулоидной оболочки и сделал пару глотков. Потом закурил. Я отложил обдумывание своего положения до следующей порции водки, сейчас меня занимали другие соображения. Я раздумывал о превратностях номенклатурной оргиастичности.

По-видимому, здесь имеет место психология коллективной охоты. Можно представить себе Тургенева, с ружьишком бродящим по перелескам в компании лишь собственной легавой или сидящим одиноко с удочками Пришвина, но ведь не станут люди комсомольского сознания бродить по лесу порознь. Как и «братва», чи-

новники с обкомовским прошлым, милиционеры. Это, думал я, от специфики работы. Дело здесь — в круговой поруке и коллективной ответственности. А поскольку в плотской любви мужчина, как ни крути, лично отвечает за процесс, приходится отказываться от индивидуального греха...

Тут за стеной что-то стукнуло, взвыло, пол и стены заходили ходуном, а потом опять все наладилось, перешло в прежний ровный гул и мелкую дрожь. Я приоткрыл дверь — в производственное, судя по всему, помещение. Здесь был густой полумрак и довольно пыльно. Справа в ряд стояли какие-то мерно работающие машины, причем стояли так плотно, что от стены их отделял лишь узкий проход. Пол был усеян бумажными обрывками и обрезками. Впереди светил тусклый фонарь. Я побрел на его свет и оказался на тесной площадке. Механизмы неумолимо делали свое дело. Присмотревшись, я обнаружил, что передо мной своего рода конвейерная линия. Откуда-то из глубины ползли газетные пачки, их поглощала машина и переваривала, чавкая и стеноя. Я поднял с пола оброненный машиной клочок — на нем угадывался фрагмент логотипа Газеты. Меня так взволновало это открытие, что я сделал еще пару глотков из бутылочки, которую не выпускал из рук.

В конце концов, соображал я, бумажная масса может стоять больше, чем никому не нужный остаток не разошедшегося позавчерашнего тиража.

И тут мне пришла в голову очень странная мысль. Я склонился к полу и стал перебирать обрезки газетной бумаги. Наконец я нашел то, что искал: на небольшом лоскуте хорошо читались цифры, дающие сегодняшнее

число. Здесь на моих глазах шел под нож весь сегодняшний тираж, кроме тысячи номеров, наверное, которые распространялись способом адресного рассылки. В конце концов, чем более грандиозно предприятие, тем более ненужные вещи оно производит. А страстей, игры честолюбий и нешуточной борьбы...

Газеты не было, Газета была фантом.

Я снова присел на лавку и жадно допил водку до капельки. И что же я здесь делаю? Здесь, одетый в банные тапочки и кимоно, в духоте и спертости, под гудение и вибрацию, под этот стук, будто рядом бьется чье-то большое сердце. Вот оно, прекрасное место мира. Мне захотелось прилечь и свернуться калачиком.

Я так и сделал. Я чувствовал себя на далеком необитаемом острове — влажном и душном. И без надежды на спасение. У меня была пустая бутылка. И что бы такое написать в записке, которую придется отправить по морским волнам? Я улыбнулся в темноте той улыбкой, той приятной улыбкой, которой улыбаются только самим себе — нет, не в зеркало, просто улыбаются самим себе, когда нечего больше терять. Я написал бы, что было совсем неплохо. Да что там неплохо — было весело. Нет, я не шучу, господа, я серьезно, было очень весело.

1999